

СОДЕРЖАНИЕ

РУССКИЙ ЯЗЫК

<i>Анисимова Т. В.</i> Манипуляция как объект лингвистического исследования	5
<i>Варнаева А. Е.</i> Экстралингвистические и лингвистические стороны сочинительной конструкции	9
<i>Искренкова М. С.</i> Деепричастные сравнительные конструкции в предикативной структуре предложения	14
<i>Коренева Ю. В.</i> Агиографический концепт в православной культуре	19

Публикации аспирантов

<i>Гусейнова Н. А.</i> О функционировании экзотизмов в современной российской эргонимии...24	
<i>Летова А. М.</i> Из истории исследования фитонимической лексики: лингвокультурологический аспект.....	30
<i>Родина Н. А.</i> Динамика бытования молодёжных прозвищ, связанных с внешним видом человека (на материале прозвищ г. Смоленска)	35
<i>Свиридова Е. А.</i> Метафорические процессы в корпусе книжной и нейтральной лексики	41

ЛИТЕРАТУРА

<i>Козин А. А.</i> Немецкая литературная баллада XVIII века в свете романтической рецепции ...46	
<i>Симонова Л. А.</i> Художественное пространство в романе Сенанкура «Оберман»	51

Публикации аспирантов

<i>Артамонова К. Г.</i> Пародия на стереотипное фэнтези: концепция «туристического визита в сказочную страну» в творчестве Дианы Уинн Джонс	57
<i>Квак Хэ Ми</i> Художественное пространство сказки «Мойдодыр»	63
<i>Сытина Ю. Н.</i> Религиозно-философские взгляды В.Ф. Одоевского 1830-х годов и их осмысление в отечественном литературоведении	68
<i>Чаусова И. В.</i> «Всё, чем в лучший вечер мы богаты, / нам тобою вложено в сердца»: образ матери в ранней лирике М.И. Цветаевой	74

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Отчёт о работе диссертационного совета Д 212.155.01 в 2011 году	80
---	----

РЕЦЕНЗИИ

Рецензия на книгу В.Н. Аношкиной «Православные основы русской литературы XIX века»	82
--	----

НАШИ АВТОРЫ	84
--------------------------	----

CONTENTS

RUSSIAN LANGUAGE

<i>T. Anisimova.</i> Manipulation as an object of linguistic research.....	5
<i>A. Varnaeva.</i> Extralinguistic and linguistic sides of coordinating construction	9
<i>M. Iskrenkova.</i> Participial comparative constructions in predicate sentence structure	14
<i>Y. Koreneva.</i> The hagiographic concept in the Orthodox culture	19

Publications of post-graduate students

<i>N. Guseynova.</i> On functioning of exotic units in modern Russian ergonymics.....	24
<i>A. Letova.</i> The historic research of the phytonymic vocabulary: linguistic-cultural aspect	30
<i>N. Rodina.</i> The dynamics of the existing youth nicknames connected with the appearance of the person (on the material of the nicknames of Smolensk).....	35
<i>E. Sviridova.</i> Metaphorical processes in the block of book and neutral vocabulary	41

LITERATURE

<i>A. Kozin.</i> The German literary ballad of 18th century in the light of the romantic reception.....	46
<i>L. Simonova.</i> Artistic space in Senancour's novel "Obermann"	51

Publications of post-graduate students

<i>K. Artamonova.</i> Parody of fantasy clichés: the concept of "adventure trips to Fantasyland" in Diana Wynne Jones's writing.....	57
<i>Kwak Hae Mi.</i> Art space in the tale «Moydodyr».....	63
<i>J. Sytina.</i> Religious and philosophical views of V. Odoyevsky in the 1830s and the understanding of them in the national literary criticism	68
<i>I. Chausova.</i> "Все, чем в лучший вечер мы богаты, / Нам тобою вложено в сердца": The image of mother in early lyric poetry by M. Tsvetaeva.....	74

THE SCIENTIFIC LIFE

Report on the Dissertation Council D 212.155.01 in 2011	80
---	----

REVIEW

Review of the book «Orthodox foundations of the Russian literature in 19th century» by V. Anoshkin	82
--	----

OUR AUTHORS	84
-------------------	----

РУССКИЙ ЯЗЫК

УДК 808.5

Анисимова Т.В.

Волгоградский государственный университет

МАНИПУЛЯЦИЯ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

T. Anisimova

Volgograd State University

MANIPULATION AS AN OBJECT OF LINGUISTIC RESEARCH

Аннотация. В статье утверждается необходимость строгого разграничения видов манипуляции в лингвистических трудах. В связи с этим выделяется манипуляция на языковом уровне (исследуются и оцениваются свойства единиц языка); дискурсивная манипуляция (исследуется ориентация видов дискурса на доказательство, убеждение или внушение); а также риторическая манипуляция (исследуется, имел ли адресант сознательное намерение ввести адресата в заблуждение или нет).

Ключевые слова: манипуляция, приёмы манипуляции, виды дискурса, оценка аргументации, языковые средства.

Abstract. The author of the article emphasizes the necessity of strict differentiation of kinds of manipulation in linguistic works. In this regard, one can distinguish manipulation at the language level (properties of language units are investigated and assessed); the discourse manipulation (orientation of types of discourse to a proof, a persuasion or a suggestion is investigated); and the rhetorical manipulation (it is investigated, whether the speaker had a conscious intention to mislead the recipient or not).

Keywords: manipulation, manipulation techniques, discourse types, the evaluation of argumentation, language means.

В последнее время в лингвистической литературе всё больше внимания уделяется определению лингвистической сущности манипуляции. При этом чаще всего исследователи отталкиваются от анализа языкового материала: в исследуемом массиве текстов они находят примеры недобросовестного построения аргументации, которые описывают и квалифицируют как приёмы манипуляции. Если в речи какого-либо нового оратора обнаруживается описанный приём, исследователь делает вывод, что он манипулирует. В связи с этим считаем необходимым обратить внимание на обязательность разделения объективно присущей языку функции манипуляции и субъективного стремления адресанта манипулировать адресатом. В связи с этим необходимо различать три уровня анализа средств манипуляции.

1. Языковой уровень. В рамках когнитивной лингвистики, лингвопрагматики, социолингвистики и других направлений активно изучается речевоздействующий потенциал фонетики, синтаксиса, лексики и пр. При этом авторы приходят к мнению, что язык обладает

мощным интерпретационным, а значит, и манипулятивным потенциалом, поскольку возможность использования языка как средства тайного воздействия заложена в самом устройстве языковой системы.

Внимание лингвистов сосредоточено главным образом на специфических языковых средствах осуществления манипулятивного воздействия, среди которых чаще всего называют подмену нейтральных понятий эмоционально-оценочными [3], метафору [6], цитату [4] и пр. Таким образом, на этом уровне объектом исследования является манипулятивная функция языка, вербальные механизмы формирования общественного мнения. При этом авторов интересуют именно свойства самих языковых единиц, а не реальные речевые ситуации, в которых они используются.

Однако анализ различных видов дискурса, осуществлённый в многочисленных работах последних лет, показывает, что содержание и степень значимости тех или иных аргументативных процедур обнаруживает зависимость от дискурсивной «системы координат». Функции языка в разных видах дискурса наполняются несколько разным содержанием. В связи с этим и средства манипуляции не являются универсальными, а дифференцируются в зависимости от того, в каком виде дискурса они функционируют.

2. Дискурсивный уровень. Во многих работах по лингвистике отмечается, что некоторые дискурсы в последнее время ощутимо трансформируются в сторону усиления манипулятивности воздействия. Ср.: «...политическая коммуникация представляет собой феномен вербальной и невербальной манипуляции сознанием, заключающейся в попытке замены знания фантомом, внедрение которого в когнитивные рамки человеческой ментальности выгодно политическим институтам для обретения, поддержания и удержания власти» [2, с. 124]

В связи с этим при изучении приёмов аргументации сначала необходимо разделить все виды дискурса на основании их преиму-

щественной ориентации на рациональные или эмоциональные способы воздействия. По этому признаку выделяются:

1). Виды дискурса, ориентированные на внушение (политический, рекламный и др.). Диапазон приёмов воздействия здесь весьма широк, поскольку предмет, о котором идёт речь, требует одностороннего и предвзятого отношения, причём предвзятость и необъективность практически не маскируются и понятны аудитории. Именно эти виды дискурса обычно относятся к манипулятивным по природе.

2). Виды дискурса, ориентированные на убеждение (судебный, управленческий и др.). К ним предъявляются гораздо более строгие требования: здесь недопустимы те очевидные уловки, которые органично смотрятся в рамках, например, рекламы, а используются более тонкие и менее навязчивые приёмы.

3). Виды дискурса, ориентированные на доказательство (научный, законодательный и др.). Здесь диапазон допустимых средств воздействия гораздо уже, чем в других видах дискурса, поскольку аргументация строится в строгом соответствии законам и принципам логики и апеллирует к истине. Считается, что в этих видах дискурса приёмы манипуляции отсутствуют в принципе.

Таким образом, каждой группе дискурсов присущи определённые свойства, изучать которые необходимо с учётом специфики именно данной группы. Этот постулат касается всех аспектов аргументации, однако особенно актуальным он становится в тех случаях, когда изучается специфика манипуляции.

3. Риторический уровень. Здесь объектом исследований являются не единицы и функции языка, а реальные высказывания конкретных людей. При этом основной характеристикой такого высказывания является задача, реализуемая адресантом. В связи с этим само по себе наличие в его речи оценок, метафор, цитат, и других единиц языка, имеющих манипулятивный потенциал, не свидетельствует о том, что оратор манипулирует.

Такой вывод может быть сделан, только если будет установлено, что указанные единицы принимают участие в искажении картины мира адресата (поскольку адресант имеет намерение эту картину мира исказить).

Таким образом, первые два уровня отвечают за то, что присутствует в языке, и выявляют то, что можно назвать объективной манипулятивностью. В то же время на третьем уровне имеет место субъективная манипулятивность (она зависит только от качества речи самого оратора). Отсюда возникает противоречие, характеризующее манипуляцию как объект лингвистического исследования. С одной стороны, основная функция дискурсов внушения состоит в том, чтобы вводить адресата в заблуждение. Здесь речь идёт об общественной практике. На этом основании любое высказывание в рамках политики или рекламы может быть квалифицировано как манипулятивное, даже если сам автор имел вполне открытые намерения. С другой стороны, человек, имеющий цель ввести в заблуждение адресата, может сделать это в рамках любого дискурса. Сравним два примера:

1). *Вам необходимо отдохнуть и поправить здоровье? Для этого вовсе не обязательно лететь за тридевять земель. Воспользуйтесь весенним предложением от санатория «Волгоград». К вашим услугам минеральные и грязевые ванны, большой бассейн, сауна, бар и дискотека. Санаторий «Волгоград». Мы близко. Телефон для справок...*

2). *В нынешнюю эпоху катастрофы социалистическая система является единственной, способной спасти человечество от уничтожения. Только система с одухотворенным разумом, свободная от дикого стимула умножения капитала за счёт разрушения биосферы, система, способная к самоограничению, может на научной основе построить мировую систему, способную функционировать неограниченно долго [5, с. 5].*

Первый текст относится к рекламному дискурсу, поэтому с дискурсивной точки

зрения должен быть признан манипулятивным (то есть он, как и вся реклама, направлен на подавление адресата). В связи с этим исследователи пристально разглядывают такие тексты и находят в них признаки манипуляции, не смотря ни на какие старания автора быть честным. Однако с риторической точки зрения этот текст не содержит никаких искажений действительности, признаки субъективной манипуляции отсутствуют. (в отличие, скажем, от слогана сыра: *в доме, где живёт любовь*, где реклама обещает адресату такие преимущества, которые невозможно приобрести от простого использования рекламируемого продукта).

Второй текст позиционировался как научный, поэтому здесь использование разнообразных средств воздействия не считается предосудительным. Однако, хотя автор и имеет право на свои собственные взгляды и оценки, он обязан предъявлять основания таких оценок, чтобы читатель понимал, почему именно они присваиваются предметам. В связи с этим отсутствие основания выделенных оценок (не только в приведённом отрывке, но и во всём тексте) позволяет сделать вывод о наличии в нём субъективной манипуляции.

Нет сомнений в том, что все точки зрения на манипуляцию как объект лингвистического исследования имеют право на существование, развивают и уточняют теорию воздействия. Вместе с тем следует настаивать на обязательном разграничении уровней исследования. В связи с этим, например, установление лингвопрагматических характеристик и основных языковых функций категории кватационной манипулятивности в политическом дискурсе [4, с. 3] не даёт права исследователю утверждать, что Б. Обама манипулирует общественным мнением на том основании, что он употребляет в своей речи цитаты из Библии и произведений В. Шекспира. На риторическом уровне (по отношению к конкретной речи) для такой квалификации необходимо устанавливать приёмы сознательного искажения действи-

тельности оратором, в то время как цитирование классической литературы, а тем более Библии, может быть обусловлено его стремлением предъявить общие ценности, быть лучше понятым аудиторией и т. п., что вполне допустимо и законно, особенно в дискурсах, ориентированных на внушение (см. об этом более подробно в [1]), а следовательно, не может быть квалифицировано как манипуляция.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Анисимова Т.В., Крапчетова Н.А. Манипуляция как характеристика институционального дискурса: монография. – Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2011. – 204 с.
2. Олянич А.В. Презентационная теория дискурса: монография. – М.: Гнозис, 2007. – 407 с.
3. Почепцов Г.Г. Психологические войны. – М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 2000. – 528 с.
4. Устинова Е.В. Цитата как вербальный инструмент манипуляции в англоязычном политическом дискурсе США: автореферат дисс... канд. филол. наук. – Волгоград, 2011. – 21 с.
5. Федотов А.П. Эпоха глобальной экологической катастрофы (Тезисы) М., 1995. С. 5.
6. Чернякова М.В. Реализация манипулятивного потенциала концептуальной метафоры в российском и американском политическом нарративе, посвященном войне в Ираке 2003-2004 гг.: дисс... канд. филол. наук. – Екатеринбург, 2007. – 254 с.

УДК 811.161.1' 367.335.1

Варнаева А.Е.

Смоленский государственный университет

ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СТОРОНЫ СОЧИНИТЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

A. Varnaeva

Smolensk State University

EXTRALINGUISTIC AND LINGUISTIC SIDES OF COORDINATING CONSTRUCTION

Аннотация. Экстралингвистической основой сочинительной конструкции является множество и его элементы. Но они присутствуют и в несочинительных конструкциях, например, в предложениях со словом *опять*. Поэтому между названными конструкциями есть и лингвистическое сходство: акцент на какой-то части предложения; смысловая связь между двумя понятиями или представлениями; участие предтекста или пресуппозиции; сходство с конструкциями, содержащими союз *то...то*; утвердительный характер конструкции; повторение некоторых слов.

Ключевые слова: множество, элементы множества, сочинительные и несочинительные конструкции, наречие «опять», обобщающие слова.

Abstract. Extralinguistic basis of coordinating construction is the set and its elements. But they are also present in non-coordinating constructions, for example, in sentences with the word “*опять*”. Therefore, between the above-mentioned constructions there is the linguistic similarity too: the emphasis on a part of the sentence; the semantic connection between two concepts or representations; the participation of background knowledge or presupposition; the similarity to constructions with conjunction «*то...то*»; the affirmative character; the repetition of words.

Keywords: set, elements of the set, coordinating and non-coordinating constructions, adverb “*опять*”, generalizing words.

В синтаксисе вполне справедливо все виды отношений сводят к сочинению и подчинению. Между тем остаётся актуальным выявление сути сочинительной связи. Для этого важно сопоставить её со смежными конструкциями. В их числе предложения, включающие в свой состав наречие *опять*. Обратим внимание на то, что их сближает.

Экстралингвистической основой сочинительной конструкции являются множество и его элементы [8, с. 90]. Экстралингвистической основой подчинительной конструкции – разные множества и элементы разных множеств. Ср.: *кофта и юбка – красная кофта*.

В математике множество понимается как набор, совокупность каких-либо объектов, обладающих общим для всех их характеристическим свойством. Например, множество зданий города Москвы. Элемент множества – это объект, предмет, входящий в какое-либо множество, которому присущи признаки, характерные для данного множества. Так, МХАТ им. Горького является элементом множества театров [4, с. 306, 603].

В сочинительной конструкции называются или имеются в виду элементы множества в равноправных компонентах и всё множество в обобщающем элементе. Этого нет в подчинительной конструкции.

Например: *Ремонтируют хозяйственный инвентарь: сбрую, телеги, бороны* (В. Белов).

Здесь обобщающий элемент *хозяйственный инвентарь* называет всё множество; равноправные компоненты *сбрую, телеги, бороны* – три элемента этого множества.

Ср. со словосочетанием *хозяйственный инвентарь*, где *хозяйственный* – элемент одного множества, а *инвентарь* – элемент другого множества.

Множество и его элементы являются экстралингвистической основой не только сочинительных конструкций, но и других, в частности – предложений со словом *опять*.

В предложениях со словом *опять* выражаются элементы множества: одно из них названо при слове *опять*, а другое чаще всего названо в предтексте. Например: *Папаша немного помолчал, подумал и опять наступил на г. учителя* (А. Чехов).

Это предложение надо понимать так, что отец на учителя наступал два раза. Один раз – до того, как отец помолчал и подумал, второй раз – после этого. Эти два действия и есть два элемента множества. При желании их можно назвать в сочинительной конструкции: *Папаша наступал на учителя дважды: до паузы и размышления и после них*.

Выражение в предложении элементов одного множества – первый признак сочинительных конструкций. Он есть и в предложениях со словом *опять*.

Иметь дело с множествами – ещё не значит иметь дело с сочинительной конструкцией. Например, математики, решая свои задачи со множествами, не имеют в виду сочинительные конструкции. Законы математики и законы логики существенно отличаются от законов языка. Поэтому вторым требованием для сочинительной конструкции является название элементов множества. Как уже было видно по приведённому выше преобразованию предложения с наречием *опять* в сочинительную конструкцию, в обеих конструкциях названия элементов множества есть или они ясны из контекста.

Названия множества или названия одного элемента множества недостаточно, чтобы перед нами оказалась сочинительная конструкция. Например, нет сочинительной конструкции в предложении: *В лесу растут деревья*.

Если в тексте есть указание на то, что слово называет всё множество, всё равно сочи-

нительной конструкции может не быть. Например: *Всё множество деревьев поражает своей красотой*.

Надо, чтобы было представлено дробление множества на элементы. При этом название всего множества не обязательно. Ср.: *В лесу растут деревья: березы и липы. – В лесу растут березы и липы*.

В предложении со словом *опять* тоже есть дробление множества на элементы.

В приведённом примере всё множество ‘наступления на учителя’ не названо, но назван один из его элементов – *опять наступил на г. учителя*, а другой, аналогичный названному, побуждает найти слово *опять*.

Обычно в сочинительной конструкции равноправные компоненты называют два (или больше) элемента множества, однако бывает и только один.

Есть несколько таких случаев.

В сочинительной конструкции есть название элемента множества и название всего множества. Например: *Наладчик воочию увидел, что от его умения, его знаний, его расторопности зависят не только собственные производственные показатели, но и показатели всей бригады* (Человек и закон, 1982, № 8, с. 14).

Всё множество – ‘показатели всей бригады’; элемент этого множества – ‘показатели наладчика в этой бригаде’.

Название только одного элемента множества бывает иногда и при цетере [6, с. 5]. Другие элементы множества не названы, но только подразумеваются. Например (см.: цетеру так далее):

У больных (лимфоденопатия и т. д.) также отмечается, правда более слабое, нарушение иммунной защиты, осуществляемой Т-лимфоцитами нормы (Наука и жизнь, 1986, № 2, с. 70).

Единственным названным элементом множества бывает иногда и элемент в сочинительной конструкции с тантумом [6, с. 59-60]. Например:

До этой встречи я знал Н.К. Михайловского по портретам и только.

Следовательно, наличие в предложении со словом *опять* названия только одного элемента множества не препятствует сближать его с сочинительной конструкцией: в некоторых бесспорных сочинительных конструкциях тоже назван только один элемент множества.

Итак, экстралингвистической основой сочинительной конструкции является множество. Но почти все слова называют множества или элементы множества. Поэтому множество и/или его элементы должны быть не только названы, но и представлено дробление множества на элементы. Это всё присутствует в сочинительных конструкциях, а также в предложениях со словом *опять*. Наличие в предложениях со словом *опять* названия только одного элемента множества не отличает их от сочинительных конструкций: в последних такое встречается достаточно часто.

Указанные экстралингвистические черты сходства между сочинительной конструкцией и предложениями, содержащими слово *опять*, имеют следствием и некоторые другие черты сходства между ними. Они по своему существу являются уже лингвистическими.

(1) Связывая по смыслу два отрезка текста, слово *опять* делает акцент на какой-то части предложения, в котором они употреблены.

Совсем не случайно то, что, связывая по смыслу действия, слово *опять* ставится не всегда перед глаголом. Ср.:

Опять я чувствую, что счастье мое далеко, далеко (А. Чехов). – *Я опять чувствую, что счастье мое далеко, далеко.*

Акцент на какой-то части предложения делают и некоторые союзы, а именно, все союзы, относящиеся к группе градационных союзов, и все союзы, относящиеся к группе отрицательно-утвердительных союзов. Например:

Весенний светлый день клонился к вечеру, небольшие розовые тучи стояли высоко в ясном небе и, казалось, не плыли мимо, а уходили в самую глубь лазури (И. Тургенев).

Метод получил признание не только в нашей стране, но и за рубежом (Наука и жизнь, 1984, № 6, с. 46).

В приведённых примерах союз акцентирует внимание на втором равноправном компоненте, потому что он называет в коммуникативном плане не данное, а новое.

(2) В предложениях со словом *опять* наличие (смысловая) связь только между двумя понятиями или представлениями.

Некоторые сочинительные союзы тоже всегда связывают только два равноправных компонента. Это, например, градационные союзы.

Другие союзы используются как в двучленных рядах, так и в многочленных.

(3) То, к чему отсылает слово *опять* (ради удобства и краткости изложения назовём его *смысловым первым равноправным компонентом*), бывает известно благодаря предтексту или благодаря пресуппозиции.

Примеры с предтекстом: *Неблагодарный брат! Я получил удостоверение, но не воспользовался им, потому что, во-первых, мне нужен паспорт не искусственный и не умственный, а от природы и, во-вторых, я из Москвы уехал к себе в имение (благоприобретённое), где я живу уже вторую неделю. Дома же мне паспорт не нужен. Завтра или послезавтра я еду опять в Москву на Новую Басманную, где буду ожидать отставки* (А. Чехов).

Как видим, слово *опять* связывает два смысловых равноправных компонента (не два равноправных компонента сочинительной конструкции, – сочинительной конструкции слово *опять* не образует).

Пример с пресуппозицией: «*Я не умерла*», – *подумала Ольга Михайловна, когда опять стала понимать окружающее и когда боли уже не было* (А. Чехов).

Из жизненного опыта известно, что живой человек понимает окружающее. Это и есть обычное состояние. Если оно прерывается, то человек умер.

Пресуппозиция бывает всегда, когда в предтексте нет повторения того слова, перед

которым стоит *опять* в тексте. Вместо этого слова иногда есть какое-то другое слово, и понять это слово как смысловое повторение помогает жизненный опыт, то есть presupпозиция. Ср. *лежит* – *ложится*, *стояли* – *показывались* в примерах:

Но вот, слава Богу, навстречу едет воз со снопами. На самом вершине лежит девка. Сонная, измороженная зноем, поднимает она голову и глядит на встречных.

– На людей едешь, пухлая, – кричит Дениска.

Девка сонно улыбается и, пошевелив губами, опять ложится (А. Чехов).

По правой стороне дороги на всём её протяжении стояли телеграфные столбы с двумя проволоками. Становясь всё меньше и меньше, они около деревни исчезали за избами и зеленью, а потом опять показывались в лиловой дали в виде очень маленьких, тоненьких палочек, похожих на карандаши, воткнутые в землю (А. Чехов).

Возможность соотнесения слов умерла – стала понимать окружающее; *лежит* – *ложится*; *стояли* – *показывались* можно понять из мысли В. Гумбольдта. Он замечает: «В сфере одного и того же понятия, а следовательно, одного и того же слова, иногда обнаруживаются разные взаимосвязанные понятия, и отсюда возникает ещё один вид словесного единства, который в отличие от вышеназванного внешнего, можно назвать внутренним» [2, с. 127].

К этому же явлению иногда имеет прямое касательство наблюдение над экзистенциальным значением, которое характеризует многие слова и предложения. Глаголами, передающими в чистом виде бытийность, являются *быть*, *существовать*, *иметься*, *находиться*. Бытийное значение имеет и глагол *стоять*, но кроме бытийности у него есть сема «находиться в вертикальном положении», например, в предложении: *У нас на площади стоит башня* [3, с. 43-44; 1, с. 26, 32-33].

Есть примеры со словом *опять*, опирающиеся на бытийность (ср.: *переночую* – *завтра к вам*):

Сегодня я переночую у вас, а завтра поеду к Клавдии Николаевне – давно уж мы с ней не

видались, а послезавтра опять к вам и проживу дня три-четыре (А. Чехов).

(4) Предложения со словом *опять* обнаруживают сходство с предложениями, оформленными союзом *то...то*.

Те и другие имеют дело с тем, что сменяется во времени. Ср.:

Конюху предлагалось заходить к Фаворито в собственной одежде, то в моём пальто и напялив на голову мою шапку (Наука и жизнь, 1986, № 9, с. 49).

Грохальский и Лиза опять зажили по-старому (А. Чехов).

Часа полтора посидели в трактире, выпили для блезуры по стакану чаю и опять пошли к Стручкову (А. Чехов).

Вечером исправник и Маша опять были в театре (А. Чехов).

Именно благодаря такой близости некоторые предложения со словом *опять* преобразуются в сочинительные конструкции с союзом *то...то*. Ср.:

Увидев нас, он в нерешительности снял шапку, надел и опять снял (А. Чехов). – *Увидев нас, он в нерешительности то снимал шапку, то надевал*.

Как видим, преобразование предложений со словом *опять* в сочинительную конструкцию удаётся тогда, когда есть несколько разных действий (*снимать* – *надевать*), каждое из которых повторяется несколько раз.

Встречаются предложения со словом *опять*, где количество повторений действий неизвестно. Однако эта неизвестность происходит не от слова *опять*, а от имеющейся в предложении цетеры. Ср.:

Сколько раз приходилось починять свою повозку, шагать пешком, ругаться, вылезать из повозки, опять влезать и т. д.; случалось, что от станции до станции ехал я шестьдесят часов, а на починку повозки требовалось десять-пятнадцать часов каждый раз (А. Чехов).

Сколько раз приходилось починять свою повозку, шагать пешком, ругаться, то вылезать из повозки, то влезать; случалось, что от станции до станции ехал я шесть-десять

часов, а на починку повозки требовалось де-сять-пятнадцать часов каждый раз.

(5) Предложения с *опять* всегда носят утвердительный характер, в чём идентичны конструкциям с утвердительными союзами (*и, а, но, то...то* и многими другими) и отличаются от отрицательно-утвердительных и конструкций незавершённого выбора [5, с. 38-44].

Это значит, что реально существует и то, что названо при слове *опять*, и то, к чему оно отсылает. Например:

В прошлом году судьба опять забросила меня в знакомый домик (А. Чехов).

Через две минуты он сидел на песочке и опять удил рыбу (А. Чехов).

– *Опять Вы не выучили!* – говорит Зибиров, вставая (А. Чехов).

(6). В предложениях со словом *опять* бывает повторение слов, называющих первый и второй смысловый равноправный компоненты (см. на *Басманную*):

Еду на Басманную и вдруг вспоминаю, что забыл у вас свой портфель. Скачу к вам. От вас опять на Басманную (А. Чехов).

Это не запрещает сближать рассматриваемую конструкции с сочинительной. Среди сочинительных конструкций с тождественными равноправными компонентами исследователи [7, с. 104-105] тоже приводят примеры, в которых названо несколько одноимённых действий. Например:

Я говорила, что стирать не надо, а она: постираю да постираю.

Она всё требует и требует для неё законной свободы.

Наличие нескольких действий возможно благодаря фактору времени. Это особенно очевидно в предложениях со словом *опять*.

Одноимённые действия могут быть очень похожими, даже идентичными, но одно из них совершается сначала, другое потом.

Представь, этот негодный арифметик опять ему вывел двойку (А. Чехов).

В конструкциях с тождественными членами связь с фактором времени не так очевидна, однако она тоже есть.

Вместе с отмеченными содержательными чертами сходства между предложением с тождественными однородными членами и предложением со словом *опять* есть и существенное различие. В названной сочинительной конструкции выражается усиление или постоянство какого-то действия, в то время как в предложениях со словом *опять* этого значения нет.

Итак, эстралингвистические основы сочинительной конструкции обнаруживаются и в несочинительных конструкциях; мало того, эти основы имеют следствием некоторые лингвистические черты сходства несочинительных конструкций с сочинительными. Следовательно, у сочинительных конструкций есть ещё некоторые специфические лингвистические особенности. О них не было речи в данной статье.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Арутюнова Н.Д., Ширяев Е.Н. Русское предложение. Бытийный тип. – М., 1983. – 198 с.
2. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. – М., 1984. – 398 с.
3. Золотова Г.А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. – М., 1973. – 352 с.
4. Кондаков Н.И. Логический словарь. – М., 1971. – 656 с.
5. Троицкий Е.Ф. Компоненты сочинительной конструкции и их отношения. – Смоленск, 1987. – 80 с.
6. Троицкий Е.Ф. Равноправные компоненты сочинительной конструкции. – Смоленск, 1988. – 80 с.
7. Троицкий Е.Ф. Сочинение тождественных членов // Русский язык в школе. – 1977. – № 6. – С. 104-105.
8. Чеснокова Л.Д. Связи слов в современном русском языке. – М., 1980. – 110 с.

УДК 81'366.58

Искренкова М.С.

Владимирский государственный университет

ДЕЕПРИЧАСТНЫЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ПРЕДИКАТИВНОЙ СТРУКТУРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

M. Iskrenkova

Vladimir State University

PARTICIPIAL COMPARATIVE CONSTRUCTIONS IN PREDICATE SENTENCE STRUCTURE

Аннотация: В статье анализируются деепричастные обороты со сравнительными союзами-частицами. Эти союзы-частицы тесно связаны с категорией модальности. Они могут выражать сомнение в достоверности чего-либо, условность, мнимость, иллюзорность чего-либо кажущегося, предположение, догадку о возможности, вероятности какого-либо события. Инвариантной семой этих значений является сема «неуверенности» (сомнения).

Ключевые слова: деепричастные конструкции, сравнительные союзы-частицы, модальность.

Abstract. The participial constructions with comparative conjunction particles are analyzed in the article. These conjunction particles are closely related to the category of modality. They may express a doubt about reliability of something, conventionality, imaginary, illusory character of something, assumption, guess on possibility, probability of an event. Invariant semantics of these values is the semantics of «uncertainty» (doubt).

Keywords: participial constructions, comparative conjunction particles, modality.

Деепричастные обороты могут присоединяться сравнительными союзами-частицами *как бы, как будто, точно, словно* и т. п., сообщающими деепричастной конструкции значение сомнения, неуверенности. Лингвисты по-разному квалифицируют слова *как бы, как будто, словно* и т. д. в составе деепричастного оборота. Так, В.В. Виноградов считает их ирреально-сравнительными союзами [3, с. 86]. Н.А. Широкова относит их к модально-сравнительным союзам [11, с. 13].

Е.Т. Черкасова считает, что при употреблении слов типа *как будто* в деепричастных оборотах «признаков союза не обнаруживается; они выступают в качестве модальных частиц, служащих для выражения сомнения в том, о чём говорится в деепричастном обороте» [8, с. 227-228].

«Русская грамматика» квалифицирует их как частицы-союзы, совмещающие разные модальные значения со значением связующих слов [6, с. 730-731]. Ср.: «Ряд частиц функционирует фактически как смысловые союзы. Выражая как частицы модусные смыслы преждевременности, желания, согласия, допущения, неясности, неуверенности, они в то же время выполняют как союзы квалифицирующую функцию: указывают на близкие этим модусным смыслам грамматические значения времени, цели, уступки, сравнения» [9, с. 288].

Как видно, одни учёные относят слова типа *как будто* к союзам, другие – к модальным частицам, третьи – к союзам-частицам. Мы квалифицируем слова *как будто, будто, как бы, словно, точно* и т. д. как союзы-частицы.

Интерес учёных к этим союзам-частицам обусловлен ещё и тем, что рассматриваемые слова тесно связаны с категорией модальности.

© Искренкова М.С., 2012.

В.В. Виноградов отметил однородность функций модальных слов и частиц с функциями глагольного наклонения: «Относясь ко всему предложению и выражая возможность, нереальность, достоверность и т. п., модальные слова и частицы оттеняют значения глагольного наклонения или определяют модальность высказывания в целом» [3, с. 77]. Он также подчеркнул, союзы *как бы*, *как будто бы*, *будто бы* имеют значение «гипотетической, или ирреальной, модальности» [там же, с. 86].

Н.Д. Арутюнова считает, что модальные союзы-частицы *как будто*, *будто*, *словно*, *точно* выражают модальность кажимости (к-модальность) [1, с. 833]. К-модальность, по её мнению, «маркирует то, что не видно, а привиделось, не слышно, а послышалось» [там же, с. 834]. Кажимость имеет следующие признаки: 1. Двуплановость, своего рода «двойное бытие», совмещение реального и кажущегося; 2. Наличие наблюдателя или самонаблюдения; 3. Наблюдатель воспринимает ситуацию чувственно. Она дана ему в ощущениях, образах, впечатлениях, воспоминаниях [там же].

К-модальность оставляет вопрос об истинности предложения открытым, поскольку образ присутствует лишь в субъективном восприятии наблюдателя [там же].

Рассмотрим те дополнительные оттенки значений, которые сообщают деепричастным оборотам данные союзы-частицы. В словарях у слов *будто*, *как будто*, *словно*, *точно* отмечаются общие значения: 1) сомнение в достоверности чего-либо; 2) выражение условности, мнимости, иллюзорности чего-либо кажущегося; 3) значение предположения, догадки о возможности, вероятности какого-либо события. Инвариантной семой этих значений является сема «неуверенности» (сомнения).

При деепричастиях не употребляется союз-частица *как*, поскольку семантика этого слова «указывает на возможность полного совпадения сравниваемых действий» [2, с. 147].

В основном *как* употребляется в составе союзов-частиц *как будто*, *как бы*. Частица *бы*, входящая в состав союзов-частиц *будто бы*, *как бы*, *словно бы*, придает им условно-предположительный оттенок значения.

Говоря об употребительности этих союзов-частиц, отметим, что особенно активно используется для присоединения именно деепричастных конструкций союз-частица *как бы*. Позиция непосредственного примыкания частицы к деепричастию, по мнению Н.А. Герасименко, «определяет реализацию модальной семантики ирреальности по отношению ко всей полупредикативной конструкции» [5, с. 77].

Анализ языкового материала показал, что в составе деепричастных сравнительных конструкций преобладают деепричастия несовершенного вида.

Рассматриваемые союзы-частицы могут вносить в деепричастный оборот сомнение в достоверности второстепенного действия.

Сомнение в достоверности чего-либо может подчёркиваться контекстом неясного восприятия, который вводит модальные союзы-частицы в тесное взаимодействие со знаками неопределённости [1, с. 834]. К таким знакам относятся неопределённые местоимения: *Она* [Марья Афанасьевна] *смотрела на бульдожат во все глаза, и пальцы на груди слабо шевелились, будто пытаюсь что-то ухватить* (Б. Акунин); *Израиль склонил голову набок, будто проверяя некое, отчасти уже ведомое ему знание* (Б. Акунин); *Вырвавшись из подворотни, буфетчик диковато оглянулся, как будто что-то ища* (М. Булгаков).

Другое значение, которое могут сообщать деепричастному обороту рассматриваемые союзы-частицы, выражение условности, мнимости, иллюзорности чего-либо кажущегося.

Часто условная ситуация кажущегося представлена воображаемой речью, беседой [4, с. 14]: *После каждой фразы он [старик] взглядывает на Яшу, как бы желая сказать: гляди, как я с умными людьми разговариваю!*

(А. Чехов); Он [Вагаев] взял её руку особенно свободно, **как бы сказав глазами**, что хотел бы поцеловать, как – «помните, тогда, чуть отвернув перчатку?...» – и неуловимо попридержал, как бы внушая взглядом: «Вы помните» (И. Шмелёв); Марья Афанасьевна лежала смиренно, кротко взирала на пламя свечек и беззвучно шевелила губами, **как бы произнося**: «Господи, помилуй» (Б. Акунин).

В ряде примеров иллюзорность, мнимость событий подчёркивается контекстом. Говорящий «противопоставляет характеризующему модальным словом событию такое, из которого можно сделать о нём противоположный вывод» [12, с. 84]: Пелагия смиренно поклонилась, **как бы признавая полное право епископа на гневливость**, но в голосе её смирения было немного, а уж в словах и подавно: – Это в вас, владыко, мужская ограниченность говорит. Мужчины в своих суждениях чересчур полагаются на зрение в ущерб прочим пяти чувствам (Б. Акунин); – Я... Я отправилась в Арарат не затем, – смятенно прошептала Наталья Генриховна, **словно бы отталкивая его голову**, но в то же время перебирая пальцами густые волосы Феликса Станиславовича (Б. Акунин).

Рассматриваемые нами модальные союзы-частицы широко используются для обозначения ситуации игры, притворства: Довольное лицо Митрофания на миг омрачилось (очевидно, именно от этой мысли), и пастырь отвернулся от неприятного молодого человека, **как бы забыв его благословить** (Б. Акунин); Он [Яков Михайлович] встал подалеже от фонаря, за кустом, и задрал голову, **как бы любуясь ясным месяцем** (Б. Акунин).

Круг деепричастий, с которыми сочетаются рассматриваемые союзы-частицы для обозначения ситуации игры, притворства, строго ограничен. Это деепричастия, образованные или от глаголов чувственного восприятия (*слышать, замечать*), или от глаголов мышления (*понять, знать*). Часто деепричастия употребляются с отрицательной частицей *не*.

Союзы-частицы могут сообщать деепричастной конструкции значение предположения, догадки о возможности, вероятности какого-либо события: **Как будто ополоумев**, неподвижная Наташа некоторое время смотрела на Маргариту, потом повисла у неё на шее, целуя и крича: – Атласная! Светится! Атласная! А брови-то, брови! (М. Булгаков); Шурочка отняла её [руку], но не сразу, **потихоньку, точно жалея и боясь его обидеть** (А. Куприн).

Рассматриваемые союзы-частицы могут употребляться в качестве модальных операторов, вводящих метафоры: Пастух ещё раз поглядел на небо, подумал и сказал с расстановкой, **точно разжёвывая каждое слово** <...> (А. Чехов); Он [чайник] тихо и жалобно звякнул, **словно прощаясь с жизнью**, и распался на несколько частей (П. Санаев); Красная крышечка, **как будто угадывая**, что сейчас произойдёт, предусмотрительно укатилась под холодильник и, вероятно удобно там устроившись, удовлетворённо дзинькнула (П. Санаев).

Несмотря на такую общность значений, рассматриваемые союзы-частицы имеют и дифференцирующие признаки. У союзов-частиц, содержащих элемент *будто*, сильнее модальность недостоверности, которая поддерживается ярко выраженным изъяснительным значением *будто* [7, с. 269]: Обгоняя молодого красавца, эта женщина на мгновение откинула покрывало повыше, метнула в сторону молодого человека взгляд, но не только не замедлила шага, а ускорила его, **как будто бы пытаясь скрыться от того**, кого она обогнала (М. Булгаков); Павел Васильевич вздрогнул и уставился посоловельми глазами на Мурашкину; минуту глядел он неподвижно, **как будто ничего не понимая** <...> (А. Чехов).

Союз-частица *точно* в большей степени указывает на точность приравнивания, в отличие от *будто*, в ней сильнее элемент сходства; в отличие от *словно* говорящий стремится к более точному, адекватному представлению действительности [там же].

Ср.: Катерина, *словно стыдясь своей же улыбки*, застенчиво сказала: – Опять (В. Белов); И увидел, как один из чёрных валунов вдруг шевельнулся, *будто разделившись на две части, большую и поменьше* (Б. Акунин); Тот [Владимир Львович] молча улыбался, *точно ожидая*, не будет ли ещё каких-нибудь признаний (Б. Акунин).

Учёные отмечают, что чисто сравнительное значение у данных союзов-частиц не является единственным. Так, О.М. Чупашева подчёркивает, что «сравнительное значение деепричастия сочетается с перечислительным, а из обстоятельственных чаще всего с причинным и значением образа действия» [10, с. 154]. Действительно, можно говорить о квазипричинном значении деепричастных конструкций с рассматриваемыми союзами-частицами, когда говорящий через предполагаемую причину пытается описать реальную ситуацию [7, с. 239]: *Чувствовалась близость того несчастного, ничем не предотвратимого времени, когда поля становятся темны, земля грязна и холодна, когда плакучая ива кажется ещё печальнее и по стволу её ползут слёзы, и лишь одни журавли уходят от общей беды, да и те, точно боясь оскорбить унылую природу выражением своего счастья, оглашают поднебесье грустной, тоскливой песней* (А. Чехов). Возможно и выражение квазичеловеческого значения: в этих случаях деепричастие часто имеет значение желательности: – *Отработаем!* – сказал Кирилл и поднял руку, *точно желая принести клятву* (А. Чехов). Ср. также сочетание сравнительного значения и значения образа действия; – *Что чудовищного в фамилии «Борейко»? – спросила Полина Андреевна, улыгнувшись еще приветливей, и повторила, как бы пробуя на вкус. – Борейко, Борейко... Самая обыкновенная фамилия* (Б. Акунин).

Если деепричастный сравнительный оборот входит в однородный ряд с наречием, именем существительным или другим деепричастием, то помимо сравнительного значения в нём совмещаются пояснительное значение и значение образа действия, а ино-

гда и другие обстоятельственные значения. По замечанию В.С. Беловой, в такой пояснительной функции деепричастие употребляется очень часто [2, с. 150]: *Здесь пророк покосился на Пелагию, но не с испугом, а как-то озадаченно, словно не очень понимая, из-за чего она так разволновалась* (Б. Акунин); *Буфетчик вынул тридцать рублей и выложил их на стол, а затем неожиданно мягко, как будто бы кошачьей лапкой оперируя, положил червонец звякнувший столбик в газетной бумажке* (М. Булгаков).

Таким образом, сравнительные союзы-частицы, тесно связанные с категорией модальности, в составе деепричастного оборота служат для выражения сомнения в достоверности второстепенного действия, условности, мнимости, иллюзорности чего-либо кажущегося, предположения о возможности какого-либо события.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. – 895с.
2. Белова В.С. О значении и параллельном употреблении сравнительных деепричастных и глагольных оборотов // Научные доклады высшей школы. Филологические науки. 1961. – №2. – С. 147-153.
3. Виноградов В.В. О категории модальности и модальных словах в русском языке // Избранные труды. Исследования по русской грамматике. – М.: Наука, 1975. – С. 53-87.
4. Гатинская Н.В. Функционально-семантическая характеристика служебного слова *как бы* // Разнородные характеристики лексических единиц. Ч. 3. – Смоленск, 1999. – С. 11-17.
5. Герасименко Н.А. Семантика и синтагматика (на примере функционирования частицы *как бы*) // Грамматические категории и единицы: синтагматический аспект: К 100-летию проф. А.М. Иорданского. Материалы седьмой международной конференции. Владимир, 25-27 сентября 2007 года. – Владимир: ВГПУ, 2007. – С. 76-78.
6. Русская грамматика: В 2-х т. Т. 1. Русская грамматика. Т. 1. Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. Введение в морфемистику. Словообразование. Морфология. – М.: Наука, 1980. – 783с.
7. Словарь служебных слов русского языка / Авторы: А.Ф. Прияткина, Е.А. Стародумова, Г.Н. Сергеева, Г.Д. Зайцева, Е.С. Шереметьева, Н.Т. Ока-

- това, И.Н. Токарчук, Г.М. Крылова, Т.А. Жукова, Т.В. Петроченко, В.Н. Завьялов. – Владивосток, 2001. – 363 с.
8. Черкасова Е.Т. О союзном и несоюзном употреблении слов типа «будто», «словно», «точно» и т. п. в сравнительных конструкциях // Памяти акад. В.В. Виноградова. Сб. статей. – М., МГУ, 1971. – С. 225-229, с. 227-228.
9. Чернышёва А.Ю. Частицы как средство связи в сложном предложении // Традиционное и новое в русской грамматике. Сб. статей памяти Веры Арсеньевны Белошапковой. – М.: Индрик, 2001. – С. 281-289.
10. Чупашева О.М. Грамматика русского деепричастия: Монография. – Мурманск: МГПУ, 2008. – 197 с.
11. Широкова Н.А. Типы синтаксических конструкций с сравнительным союзом в составе простого предложения. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1960. – 154 с.
12. Яковлева Е.С. Значение и употребление модальных слов, относимых к разряду показателей достоверности/недостоверности: дисс. ... канд. филол. наук. – М.: МГУ, 1983. – 171с.

УДК 811. 161.1'37: 075.8

Коренева Ю.В.

Московский государственный областной университет

АГИОГРАФИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ В ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЕ

Y. Koreneva

Moscow State Regional University

THE HAGIOGRAPHIC CONCEPT IN THE ORTHODOX CULTURE

Аннотация. В статье говорится о специфике лингвоконцептов русской агиографии. Утверждается антропоцентрический характер лингвоконцептов жития с позиций православной антропологии. В процессе рассуждения устанавливается, что агиографический лингвоконцепт может анализироваться двунаправленно: как показатель внешней жизни и как показатель жизни внутренней. В частности, говорится о лингвоконцептах *Воля, Смирение, Послушание*, которые относятся к духовным концептам и обладают высокой ценностью в православном языковом сознании, христоцентричным по своей сути.

Ключевые слова: концепт, агиография, языковое сознание, православная культура

Abstract. The article is devoted to a specific nature of linguistic concepts of the Russian hagiography. The anthropocentric nature of these concepts from the standpoint of the Orthodox anthropology is proved. In the process of reasoning the author establishes that hagiographic concepts can be analyzed bidirectionally: as an indicator of the external life and as an indicator of the internal life. In particular, author mentions the concepts *Will, Humility, Obedience*, which are related to the spiritual concepts and have a high value in the linguistic consciousness of the Orthodox, Christ-centred in nature.

Keywords: concept, hagiography, linguistic consciousness, orthodox culture.

Сегодня понятие культуры в научном дискурсе носит почти всеобъемлющий характер. Проблемы соотношения языка и общества, языка и религии, этническое, языковое, индивидуальное языковое сознание – всё признается в том или ином аспекте частью культуры. Такое расширение понятийных рамок отражает, с одной стороны, объективные процессы развития современной научной мысли, движущейся по пути синкретичности, но, с другой стороны, может привести к «размыванию» понятий культуры, прежде всего базовых. В этом ключе, помимо словарного и контекстуального описания слова-имени концепта, своеобразным «якорем» может стать обращение к этимологии слова и основанный на этом анализ семантической структуры воплощенного в языке словом концепта. Концепты анализируются с разных научных позиций и точек зрения: лингвокогнитивной (Е.С. Кубрякова и др.), лингвокультурологической (Ю.С. Степанов, Н.Д. Арутюнова, В.И. Карасик и др.). С лингвокультурологических позиций концепты эксплицируют ментальность как мирозерцание в категориях и формах национального языка, через «набор специфических когнитивных, эмотивных и поведенческих стереотипов нации» [4, с.14]. Ценностно-смысловая энергетика [1] религиозного православного дискурса наполняет культурно-событийным содержанием стоящий за словом комплекс смыслов, моделирует семантический объём концепта. Бытование слова-имени концепта в той или иной функционально-смысловой сфере определяет его семантическое наполнение – такой подход может быть определён как лингвосоциокультурный.

Житийный жанр как часть русской православной культуры представляется социокультурной совокупностью текстов, в анализе которой сопрягаются историко-культурный, богословский, литературоведческий и лингвистический подходы. С лингвистических позиций и с опорой на богословский анализ в исследовании агиографических концептов поле макроконцепта *Святой/Святость* наполняется духовными по сущностному статусу концептами: *Молитва, Монастырь, Крест, Преподобный, Старец, Смирение, Терпение, Дар духовный* и др. (см. классификацию концептов в: [6]). Данные концепты играют заглавную роль в формировании православной картины мира наряду с православными религионимами: теонимией (Христос, Богородица), агиоантропонимией (преподобный Сергей Радонежский, святитель Феофан Затворник), агиотопонимией (Святая Земля, источник Казанской иконы Божией Матери), агиохремотонимией (Свято-Духов монастырь, икона Богородицы «Неупиваемая Чаша») (классификация по: [2]). С когнитивной точки зрения все эти концепты могут расцениваться как фреймы (монастырь), сценарии (молитва), схемы (послушание) и т. д. Из предложенных вариантов идентификации имеющим выраженную связь с языком является лингвокультурный аспект исследования, поэтому, признавая религию частью культуры народа, мы можем утверждать, что религиозный концепт – это всегда лингвокультурный концепт. В православной культуре и православном дискурсе и уже в агиографической концептосфере функционируют различные концепты, отражающие православное сознание, с одной стороны, и имеющие агиографическую принадлежность (но не эндемичность!), с другой стороны. В агиографическом тексте религиозным по функции и, следовательно, по семантике может быть признано любое слово, через которое эксплицируется тот или иной религиозный концепт.

В русских преподобнических житиях, рассказывающих о подвижничестве монаха

(житие преподобного Сергия Радонежского, житие преподобного Александра Свирского, жития преподобных старцев Оптинских и др.), концептуализированы многие понятия, в том числе *Молитва, Терпение, Смирение, Послушание, Страх Божий, Дар духовный*. Все подобные концепты по сути антропоцентричны с точки зрения агиографического текста – житие святого повествует о святости человека – и христоцентричны с точки зрения православного религиозного дискурса и культуры – житие святого повествует об обожении, достижении святости человеком, его приближении к Богу. Антропоцентризм агиографической лексики, или терминов агиографии, проявляется всегда двунаправленно: вектор 1 – слово означает и обозначает внутреннее состояние человека, вектор 2 – слово означает и обозначает внешние признаки поведения человека.

Внешний и внутренний векторы семантической наполненности концепта неравноправны: в отношении триады «дух – душа – тело» действия духовные, т. е. внутренний вектор семантики, должны быть примарными, стоять на 1-м месте. Поэтому по наполненности внутренняя жизнь, по святителю Феофану Затворнику – внутренний человек, а priori богаче, разнообразнее, полнее внешней. Молитва внешняя, как сценарий в когнитивной характеристике концепта, и внутренняя, как гештальт в когнитивной характеристике концепта, неравнозначны. Только внешняя молитва без внутреннего содержания ведёт по пути прелести духовной, а внутренняя молитва нуждается во внешнем оформлении, без которого она может ослабнуть, т. е. важно гармоничное сочетание внешнего и внутреннего семантических векторов, внешнего и внутреннего действия, в православной духовной и агиографической терминологии – делания. То же в отношении *Смирения, Послушания* и других агиографических концептов: только внешнее смирение или послушание при отсутствии внутреннего содержания приводит человека ко лжи и в итоге к смерти духовной. Определяющим в

духовных концептах является соответствие религиозной Истине – Христу, т. е. православное религиозное сознание христоцентрично. Таким образом, агиографическую концептосферу можно охарактеризовать как **христоцентричный антропологизм**: в центре описания житийного произведения – человек в его служении Единой и Нераздельной Троице.

Вектор 1 лингвоконцепта *Смирение* в житийном тексте даёт базовую семантику «добродетель христианина, выражаемая во внутреннем соблюдении меры во всей жизни». Вектор 2, соответственно, – «внешняя покорность, выражаемая определённым поведением, некая неактивность». Сопряжение в концепте *Смирение* обоих векторов приводит нас к концепту *Послушание*. Послушание воспитывается как подражание Христу – здесь мы имеем выход на христоцентричность агиографического концепта – и в соединении двух векторов означает «состояние смиренного духовного повиновения старцу-духовнику или игумену-наместнику, любому старшему из братии, добровольно принимаемое по любви к Богу и человеку в целях спасения души», а это уже антропоцентричная характеристика агиографического концепта.

Смирение, лежащее в основе послушания, соотносится также с концептом *Воля*. В православном языковом сознании воля не является монолитным представлением, противопоставляются воля Божия и воля человеческая. Такая оппозиция имеет прежде всего онтологический статус. Для православной антропологии и учения о святости отсечение своей воли – основа послушания, а возможность отсечения как добровольного действия, есть результат смирения. Таким образом, выстраивается причинно-следственная триада концептов «*Смирение – Воля Божия – Послушание*», центральным компонентом которой является концепт *Воля Божия*. Предложенная В.И. Карасиком трёхчастная система описания лингвоконцепта – предметно-образная, понятийная и ценностная составляющие [3] – перекликается с иде-

ей ценностно-смысловой энергетике слова Н.Ф. Алефиренко [1], поэтому в этой трёхчастной системе ценностная составляющая концепта является ведущей: «ценностная сторона концепта – важность этого психического образования как для индивидуума, так и для коллектива» [3, с. 140]

Ценность лингвоконцепта *Воля* может быть раскрыта через выявление системы отношений в языке и тексте: в современном секулярном (нерелигиозном, неправославном) языковом сознании концепт *Воля* имеет определённую ценность, которая скорее высока, если реализуется в контекстах типа «сила воли», «волевое решение», через синонимию «свобода, сила», через антонимию «неволя», через синтагматические свойства «сильная, железная, ваша, к жизни» [8, т. 1, с. 107], и ценность данного лингвоконцепта практически неактуальна для обыденного языкового сознания, если речь идёт о воле Божией. В современной лексикографии *воля* определяется как «одна из основных психических способностей, выражающаяся в действиях и поступках; сознательное стремление к осуществлению какой-н. цели; желание, требование; свобода, независимость; полная, ничем не сдерживаемая свобода в проявлении чувств, в действиях или поступках» [9]. В соответствии со словарными данными церковнославянского языка *воля* – это «соизволение» [7, с. 93], «определение, приговор; намерение; повеление; распоряжение, желание» [7, с. 929-930]. Предметно-образная сторона лингвокультурного концепта как «сгусток жизненного опыта, зафиксированный в памяти человека» [3, с. 139] для лингвоконцепта *Воля Божия* такова: во-первых, с этимологических позиций слово *воля* соотносится с «хотеть, желать» и сопоставляется с глаголом «велеть» [10, т. 1, с. 347-348; 11, т. 1, с. 164-165]; во-вторых, ассоциативный потенциал слова-имени концепта *Воля* не имеет религиозной принадлежности: из 111 реакций только 3 со словом Божья [8, т. 1, с. 107], большинство реакций синтагматические «вольная 9, сильная 8, железная 5» [8, т. 1, с.

107], парадигматические ассоциации связывают волю в основном с существительными «свобода 8, неволя 6, доля 3» [8, т. 1, с. 107]. Семантическое наполнение данного словосочетания в обыденном нерелигиозном сознании синонимично скорее неизбежности, невозможности что-либо изменить (*волею судьбы/судеб* и под.). В православном дискурсе концепт Воля Божия проявляет себя в следующих конструкциях: *воля Божия на всё* (жизнь, смерть, скорби и радости), *есть на это воля Божия или нет, следовать воле Божией, узнать волю Божию*. В поучениях Оптинских старцев имеется 67 примеров с рассуждением о Воли Божией и только 23 примера о воле человеческой: «Если о всякой вещи должны молиться “да будет воля Твоя”, то более всего прилично это в отношении нашей жизни, которая дана нам для приобретения вечного спасения» [5, с. 247 – высказывание преподобного Амвросия]. Аксиологический статус данной оппозиции связан с тем, что воля человека расценивается положительно, если она есть следствие воли Божией, и отрицательно, если она противоречит принципу христоцентричного антропологизма: «Многие человеческие дела бывают так. Думаем и предполагаем одно, а выходит другое. Только в одном ошибки не бывает: если **стремится человек к исполнению воли Божией** во всяком подлежащем деле, то хотя бы видимого успеха в этом деле он и не получил, всеблагий Господь доброе намерение его вменяет ему в самое дело» [5, с. 257 – высказывание преподобного Амвросия].

В агиографическом произведении, эксплицирующем православное сознание, воля Божия – единственный ориентир в поступках человека, внутренняя духовная опора жизни, которая может исчезнуть, если человек не имеет смирения и послушания как базовых внутренних качеств. Второй компонент лингвоконцепта *Воля Божия* – прилагательное *Божия* – может быть расценен как идентификатор первого компонента, в противовес воле человека и своеволию; как указатель векторного деления концепта –

внешнее проявление (определённые способы невербального и вербального поведения при признании действия воли Божией) и внутреннее состояние, в котором человек поручает себя Богу, полностью полагается на волю Божию и только в таком духовно-душевном состоянии принимает решения и действует; наконец, как дифференциатор языковой рецепции – антропоцентричного и христоцентричного восприятия семантики, что для агиографической концептосферы является определяющим моментом. Таким образом, концепт *Воля Божия* имеет лингвокультурный статус в агиографической концептосфере, в этом концепте семантическое ядро христоцентрично, центр и периферия уже антропоцентричны, базовая антропоцентричная семантика концепта *Воля Божия* отталкивается от смирения и послушания как качественных внутренних характеристик монаха.

Концепты православного сознания словесно материализуются в житийном тексте, и через это воплощение мысли в слове, по образному выражению Л.С. Выготского, моделируется православная картина мира, та культура слова, которая воспитывает христианина.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство языка: учеб. пособие. – М.: Флинта: Наука, 2010. – 288 с.
2. Бугаева И.В. Агионимы в православной среде: структурно-семантический анализ: Монография. – М.: ФГОУ ВПО РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева, 2007. – 138 с.
3. Карасик В.И. Лингвокультурные концепты: подходы к изучению // Социоллингвистика вчера и сегодня: Сб. науч. трудов. Изд-е 2-е, доп. /РАН ИНИОН. Центр гуманитар. науч.-информ. исслед. Отд. языкознания; Редкол.: Трошина Н.Н. (отв.ред.) и др. – М., 2008. С. 127-155.
4. Лингвокультурный концепт: типология и области бытования Монография / ВолГУ; под общ. ред. проф. С. Г. Воркачева. – Волгоград: ВолГУ, 2007. – 400 с.
5. Оптинский Цветник. Изречения преподобных старцев Оптинских. – М.: Спасское братство, 2009. – 493 с.

6. Пименова М.В. Когнитивная лингвистика и концептуальные исследования на современном этапе// Текст и контекст в лингвистике: Сборник научных статей по материалам Международной научной конференции XI Виноградовские чтения «Текст и контекст: лингвистический, литературоведческий и методический аспекты», посвященной 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя (12-14 ноября 2009 г.)/ Ответ. ред. Е.Ф. Киров. – М.: МГПУ; Ярославль: Ремдер, 2009. – С. 89-93.
7. Полный церковно-славянский словарь. Протоиерей Г. Дьяченко. М., 2001. – 1120 с. (Репринтное воспроизведение издания 1900 г.)
8. Русский ассоциативный словарь: В 2 т. / Ю.Н. Караулов, Г.А. Черкасова, Н.В. Уфимцева [и др.]; Рос. акад. наук. – М.: АСТ: Астрель, 2002.
9. Словарь русского языка Д.Н. Ушакова [Электронный ресурс] // URL: <http://slovari.yandex.ru> (дата обращения 16.01.2012).
10. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 тт./ Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачёва; под ред. и с предисл. Б.А. Ларина. - 3-е изд., стер. – СПб.: Terra – Азбука, 1996.
11. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: 13 500 слов: Т. 1-2. – М.: Рус.яз., 1993.

Публикации аспирантов

УДК 81'373

Гусейнова Н.А.

Московский государственный областной университет

О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ЭКЗОТИЗМОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭРГОНИМИИ

N. Guseynova

Moscow State Regional University

ON FUNCTIONING OF EXOTIC UNITS IN MODERN RUSSIAN ERGONYMICS

Аннотация. В статье рассматривается функционирование экзотической лексики в современной коммерческой номинации, определяется статус экзотической лексики в лингвистических исследованиях, выявляются характерные признаки экзотизмов, анализируются причины и цели использования экзотизмов в российской эргонимии. Эргонимы, включающие экзотизмы, создаются для коммерческих объектов, по роду деятельности связанных с реалиями нерусской действительности, для передачи специфического национального колорита. Активное употребление заимствованной, в частности экзотической, лексики благотворно сказывается на развитии российской эргонимии, расширяя её языковые и игровые возможности, способствуя обогащению её состава.

Ключевые слова: эргоним, эргонимия, эргонимический термин, экзотизм, экзотическая лексика, иноязычная лексика.

Abstract. The article is devoted to the analysis of functioning of exotic lexical units in the modern business category, the author defines the status of exotic words in linguistic research, reveals specific features of exotic words, and analyzes causes and purposes of using of exotic words in Russian ergonymics. Ergonyms, including exotic words, are created for commercial objects, connected with facts of non-Russian reality, for the expression of specific national colour. Active using of foreign borrowings, particularly exotic words, has a good effect on Russian ergonymics's development, extending its language and gaming abilities, promoting enrichment of its structure.

Keywords: ergonym, ergonymics, ergonymic term, exotic words, exotic lexical units, foreign language vocabulary.

Изменения в жизни российского общества на стыке XX – XXI вв. сказались и на состоянии языка, нашли отражение на всех уровнях его бытования, в том числе и в сфере эргонимии. Н.В. Подольская определяет эргоним как «собственное имя делового объединения людей, в том числе союза, организации, учреждения, корпорации, предприятия, общества, заведения, кружка» [7, с. 151]. Т.В. Шмелёва отмечает, что с начала 1990-х годов эта сфера

переживает состояние «онимического взрыва»: взрывообразный рост числа объектов, требующих собственных имён, вызывает увеличение ономастикона (в первую очередь, городского) и расширение диапазона ономастической техники, или языковых средств производства онимов [15, с. 114].

В современной теории заимствований спорными являются вопросы о типах лексических заимствований и видах иноязычных слов. Под «иноязычной лексикой» понимаются «любые слова и выражения, пришедшие из другого языка, вне зависимости от степени их освоенности в языке-реципиенте» [5, с. 35], под «иностранным словом» – «слово иноязычного происхождения, употребляемое носителями принимающего языка, но не закрепившееся в нём на правах составного элемента лексико-семантической системы» [16, с. 42].

Терминологическая база, обслуживающая иноязычную лексику в русском языке, не является системной, последовательно разработанной, включая более десятка наименований: заимствования, иностранные слова, варваризмы, экзотизмы, квазизаимствования (Л.М. Баш), ксенизмы (Л. Деруа) – диаксенизмы – палеоксенизмы – экстранизмы (М. Габинский), алиенизмы (В.П. Берков), локализмы, макаронизмы, интернационализмы (интернациональная лексика), иносистемные языковые единицы, иноязычные вкрапления, экстремальные заимствования (В.Г. Дружин), культурно-экзотические слова, иноязычные включения, этнографизмы, регионализмы и др.

Экзотизмы – «слова, которые характеризуют специфические особенности жизни разных народов и употребляются при описании нерусской действительности» [8, с. 68]. Признаками экзотической лексики являются отнесенность к уникальным национальным реалиям, отсутствие синонимов в принимающем языке, высокая степень обусловленности национальной культурой. Экзотизмы, как правило, грамматически и фонетически осваиваются принимающим языком и пере-

даются средствами русской графики, сохраняя при этом национальные языковые черты и обозначая не имеющие аналогов в принимающем языке явления. Некоторые учёные полагают, что экзотизмы выделяются из иноязычной лексики на основе внешнесистемного признака – отнесенности реалии к чужой жизни, культуре [см., напр., 1; 12], в то время как другие исследователи не учитывают внешнесистемный признак, рассматривая экзотизмы только в противопоставлении «экзотизмы – освоенные заимствования» [6]. Л.П. Крысин учитывает оба признака экзотизмов – внешнесистемный и их неосвоенность в языке-реципиенте. Производя разделение по степени освоенности, учёный выделяет заимствованные слова (освоенные) и экзотизмы (неосвоенные), подчёркивая, что «слово не может быть заимствовано раньше, чем предмет, им обозначаемый» [3, с. 89], в то же время экзотизм с заимствованием предмета может стать заимствованным словом [4, с. 50]. Учёный подчёркивает, что экзотизмы, «хотя и переданы русской графикой, представляются чуждыми для носителей языка» [4, с. 39].

Создавая эргонимы, в основе которых лежит экзотическая лексика, номинаторы преследуют цель выделения наименования за счёт оригинальности, необычности, экзотичности на фоне других наименований. Чаще всего эргонимы, включающие экзотизмы, создаются для коммерческих объектов, так или иначе по роду деятельности связанных с реалиями нерусской действительности, для передачи специфического национального колорита. Так, модное увлечение японской кухней в России привело к открытию множества японских ресторанов и кафе, к поиску для них экзотических названий: сеть ресторанов японской кухни в Москве названа «Тануки». Тануки – известный персонаж японской мифологии – традиционный японский зверь-оборотень, символизирующий счастье и благополучие. Другой пример – *сеть японских ресторанов «Васаби»* (васаби – приправа, используемая в японской кухне).

Интересно, что на фоне увлечения реалиями японской жизни некоторые номинаторы создают наименования, которые можно условно назвать «псевдоэкзотизмами»: созданные на русской почве, такие слова не существуют в японском языке, они создаются по принципу созвучия с экзотизмами, при этом зачастую при их создании применяются приёмы языковой игры: так, японский ресторан в г. Пскове, первоначально имевший название «Васаби», вскоре был переименован в «Вабаси» для того, чтобы отличаться от московских ресторанов «Васаби»; в Москве существует сеть японских ресторанов «Ваби Саби», в наименовании которых обыгрывается экзотизм «васаби».

В основу эргонима «Кабуки» / *Kabuki* положен экзотизм «кабуки» (кабуки [яп. *kabuki* букв. искусство танца и пения]. Один из видов классического театра Японии, основу которого составляют танцы и музыка [13, с. 322]), позволяющий акцентировать внимание потребителей на специфике данного заведения общественного питания – блюда японской кухни. Данный эргоним популярен среди российских номинаторов: предприятия общественного питания в Иркутске, Владимире и Санкт-Петербурге называются «Кабуки» (в кириллической графике), а несколько ресторанов в Москве и бар-ресторан в Челябинске имеют то же название, оформленное средствами латиницы – *Kabuki*.

Мода на японские наименования привела к созданию эргонима «Сакура» (сакура – декоративное растение, произрастающее в Японии и являющееся символом Японии и японской культуры), популярного среди номинаторов и служащего для наименования различных по профилю деятельности коммерческих объектов: так, в московском регионе существует несколько парикмахерских и салонов красоты с таким названием, а также сауна «Сакура», магазин «Сакура», в котором можно приобрести всё необходимое для приготовления традиционных японских блюд; магазин японской косметики «Сакура»; суши-бар «Сакура»; племенной питомник

морских свинок «Сакура»; мебельная фабрика «Сакура»; ООО «Окна Сакура» и др. Другой пример использования японского экзотизма в качестве эргонима – мотосалон, суши-бар, ресторан, интернет-магазин «Якудза» (якудза – название японской мафии).

На базе экзотизмов, пришедших из разных языков, образовались такие эргонимы, как арт-салон «Фламенко» (фламенко [исп. *flamenco* < лат. *flamma* 'пламя']. Стиль исполнения некоторых испанских (андалузских) песен и танцев, отличающийся высокой экспрессией и темпераментностью, а также танец в таком стиле [13, с. 832]); салон красоты «Саванна», сувенирный магазин «Саванна», магазин охотничьих и рыболовных принадлежностей «Саванна-клуб» (саванна [исп. *savana* < аравакск. *zavana*]. В Африке и Южной Америке: тропическая степь с редко растущими деревьями и кустарниками [13, с. 688]); кальян-бар «Бедуин», кафе «Бедуин» (бедуин [нем. *Beduine*, фр. *bédouin*, араб. *bedāwī* 'обитатель пустыни']. Араб-кочевник (на Аравийском полуострове и в Северной Африке [13, с. 121]).

Подробнее стоит остановиться на употреблении экзотизма «чайхана» в современной российской эргонимии. Чайхана [тюрк. *çaihana* < *çai* 'чай' + перс. *hāne* 'дом'] – чайная в Средней Азии, Иране [10, с. 704]; в свою очередь чайная – род столовой, где посетители могут выпить чаю и закусить [14, с. 702]. Данный экзотизм, являющийся по сути эргонимическим термином, может выступать как в своём прямом назначении, обозначая тип предприятия общественного питания (например, чайхана «Принц»), так и входить в состав наименования – имени собственного, например, сеть известных в Москве *chill out* ресторанов называется *Lounge cafe* «Чайхона №1». Рассмотрим данный эргоним, в котором эргонимическими терминами являются «lounge cafe» и «chill out ресторан» – новые модные заимствованные понятия, пришедшие из сферы одноимённых музыкальных направлений *lounge* и *chill out*, характеризующихся спокойной медитативной музыкой,

и означающие создание особой атмосферы спокойствия, расслабленности, лёгкого отношения ко всему, приятного времяпрепровождения и т. п. Собственное имя «Чайхона №1», в котором намеренно или по незнанию допущена орфографическая ошибка, существует на вывесках заведений, в рекламе, в справочниках и в сети Интернет уже более десяти лет, и плоды данного небрежного отношения к русскому языку налицо: многочисленные обращения посетителей интернет-сайтов с просьбой разъяснить, как правильно: *чайхана* или *чайхона*, создание новых наименований предприятий общественного питания по безграмотному образцу. В качестве примера можно привести выдержку из интернет-сайта предприятия общественного питания «Хлопок». На логотипе компании значится: *Хлопок чайхана*; в разделе «О нас» (о заведении) – подзаголовок: *ресторан Чайхона-Хлопок* (дефисное написание без кавычек, слово *чайхана* с буквой *о*), далее по тексту – приглашение «прийти в *чайхану* «Хлопок» на Большой Семёновской» (раздельное написание, собственное имя взято в кавычки, *чайхана* с буквой *а*); в разделе «Контактная информация» читаем: *чайхона* «Хлопок» (раздельное написание, собственное имя взято в кавычки, *чайхана* с буквой *о*) [17]. Отметим, что безусловной орфографической нормой является написание слова «чайхана» с буквой *а* во втором слоге, истоки же неверного написания можно, видимо, искать в отличающемся от русского написании данного слова в узбекском и таджикском языках (дело в том, что в подавляющем большинстве случаев данные заведения предлагают блюда именно узбекской и таджикской кухни и отражают колорит и национальные особенности этих стран). По данным русско-таджикского и русско-узбекского словарей, существительное *чайхана* в данных языках пишется: *чойхона* (по-узбекски) и *чоухона* / *чойхона* (по-таджикски) [18] (ср. названия государств: Узбекистон, Тоджикистон). Таким образом, можно предположить, что вариант «чайхона» – смешение русского

и таджикско-узбекского написаний, некий «интернациональный микс»: первый слог – из русского варианта, второй – из таджикско-узбекского. В любом случае номинаторам следовало бы выбрать или русскую форму написания – *чайхана* (что предпочтительней на русской почве: данный экзотизм присутствует в русском языке давно именно в такой форме, кроме того, второй слог данного слова образован от персидского *hāne* с гласной *ā*), или писать по-таджикски / узбекски – *чойхона*.

В тех случаях, когда экзотизм «чайхана» выступает в роли эргонимического термина, создатели наименований в большинстве случаев стараются подбирать имена собственные, «гармонирующие» с экзотическим колоритом термина. Соответственно среди названий чайхан встречается немало экзотизмов: *чайхана* «Джейран» (джейран [казах. *žijrān*]. Вид *газели*, обитающий в пустынях и полупустынях Передней, Средней и Центральной Азии, в Закавказье и Казахстане [13, с. 249]), *хивинская чайхана* «Урюк кафе» (урюк [< тюрк. *örük*]. Мелкие сушеные *абрикосы* с косточками [13, с. 808]), *чайхана* «Учкудук» (Учкудук [узб. *Uchquduq* / *Учқудуқ* 'три колодца']. Город, Бухарская обл., Узбекистан [11] – данный топоним-экзотизм приобрел популярность в России после выхода в 1980-е гг. песни «Учкудук – три колодца» группы «Ялла» на слова Ю. Энтина), *чайхана* «Пиала» (пиала [< перс. *peyale*] – сосуд для питья в Средней Азии и сопредельных областях – небольшая фарфоровая или фаянсовая чашка, расширяющаяся кверху, без ручки [10, с. 464]), *чайхана* «Пахлава» (пахлава [иран.] – восточная сладость – пирог с ореховой начинкой [10, с. 456]), *чайхана* «Хурма» (хурма [тур. *hurma* < перс. *хуртма* 'финик']. Южное дерево сем. эбеновых с оранжево-красными сладкими плодами, а также сами эти плоды [13, с. 865]), *чайхана* «Чинар» (чинар / чинара [тур. *çinar* < перс. *çanar*]. Дерево рода *платанов*, восточный платан [13, с. 878]), ЧАЙ-ХАН «Бархан» (бархан [< тюрк. *barхан* 'идуший, подвижный холм']. Песчаный наносный

холм в степях, пустынях, передвигаемый ветром [13, с. 118]) – данный эргоним интересен и необычным графическим оформлением эргонимического термина: благодаря приёму дефисации и отсутствию окончания получается интересная рифма – *хан – бархан*, кроме того, приобретает дополнительный смысл за счёт выделения лексемы «хан» (хан [тюрк. *хан*]). Титул феодального правителя у тюркских и монгольских народов, а также лицо, носящее этот титул [13, с. 854]).

Эргоним *чайхана «Павлин-мавлин»* интересен тем, что здесь с целью языковой игры и воспроизведения особенностей разговорной речи используется так называемый «фокус-покус приём» (или «приём рифмованного эха», «повтор-отзвучие») – «приём рифмовки созвучных слов, одно из которых является искажённым двойником другого» [2, с. 199]. Данный приём распространён в разговорной речи: «В современной РР существует незначительный набор устойчивых эхо-конструкций: *фокус-покус, штучки-дрючки, штучки-мучки, страсти-мордасти, гоголь-моголь, хурды-мурды, фигли-мигли* и нек. др. Более интересны, однако, случаи, когда говорящий не просто использует известную ему эхо-конструкцию, но строит новую по действующей модели. В таких случаях слово-эхо чаще всего содержит в начале сочетание *шм* или *м*, заменяющее начальный согласный слова (*перец-шмерец, йога-шмога, телевизор-малевизор, шпроты-моты, фрукты-мукты*)» [9, с. 193]. «Фокус-покус приём» использован и в другом эргониме, содержащем экзотизм, – *ресторан кавказской кухни «Шашлык-машлык»* (шашлык [тюрк. *şışlik* < *şış* ‘вертел’]. Блюдо из кусочков баранины (а также говядины, свинины), зажаренных над огнём (на вертеле, шампуре) [13, с. 882]).

Итак, современные российские номинаторы активно используют экзотическую лексику для создания эргонимов. Экзотизмы в составе эргонимов позволяют достичь эффекта свежести, необычности наименования, создают особый национальный колорит, привлекая внимание потребителей. За счёт

использования экзотизмов эргонимы выделяются на фоне других наименований, что, безусловно, служит рекламным целям и продвижению предприятия на рынке. Активное употребление заимствованной, в частности экзотической, лексики (при условии бережного отношения к родному языку) благотворно сказывается на развитии российской эргонимии, расширяя её языковые и игровые возможности, способствуя обогащению её состава.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Берков В.П. Двухязычная лексикография. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Астрель. АСТ. Транзиткнига, 2004. – 236 с.
2. Ильясова С.В. Языковая игра в коммуникативном пространстве СМИ и рекламы – М.: Флинта, 2009. – 296 с.
3. Крысин Л.П. О новых иноязычных заимствованиях в лексике современного русского литературного языка // Вопросы культуры речи. – Вып. 5. – М., 1964. – С. 71 – 90.
4. Крысин Л.П. Иноязычные слова в современном русском языке – М.: Наука, 1968. – 208 с.
5. Крысин Л.П. Русское слово, своё и чужое: Исследования по современному русскому языку и социолингвистике. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 884 с.
6. Мартынек В.Д. К вопросу о лексико-семантической ассимиляции английских слов в современном русском литературном языке // Вопросы истории и методики преподавания иностранных языков. – Вып. 2. Днепропетровск, 1970. – С. 36 – 37.
7. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. – М., 1988. – 170 с.
8. Розенталь Д.Э. Современный русский язык. – 10-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 448 с.
9. Русская разговорная речь. Фонетика. Морфология. Лексика. Жест / Отв. ред. Е.А. Земская. – М., 1983. – 240 с.
10. Словарь иностранных слов и выражений / Авт.-сост. Е.С. Зенович. – М.: Астрель: АСТ, 2006. – 788 с.
11. Словарь собственных имён русского языка / Ф.Л. Агеенко. – М.: «Издательство “Мир и образование”», 2010. Электронный ресурс [Сайт] Режим доступа: <http://www.gramota.ru/slovari/info/ag/> Дата обращения: 30.12.2011.
12. Супрун А.Е. Экзотическая лексика // Научные доклады высшей школы. Филологические науки. – М., 1958. – № 2. – С. 51-54.

13. Толковый словарь иноязычных слов / Крысин Л.П. – М.: Эксмо, 2010. – 944 с.
14. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов; Под ред. проф. Л.И. Скворцова. 26-е изд., перераб. и доп. – М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2008. – 736 с.
15. Шмелёва Т.В. Письменность городской среды // Фонетика – Орфоэпия – Письмо в теории и практике: Межвуз. сб. научн. трудов. – Вып. 1. – Красноярск, 1997. – С. 114 – 123.
16. Щитова О.Г. Неисконная лексика в русской разговорной речи Среднего Приобья XVII века. – Томск, 2008. – 480 с.
17. Чайхана Хлопок: [Сайт]. [2012]. URL: <http://www.chaihanahlokok.ru>. (дата обращения: 30.12.2011).
18. sahifa.tj: [Сайт]. [2011]. URL: <http://sahifa.tj>. (дата обращения: 30.12.2011).

УДК 821. 161. 1'36

Летова А. М.

Московский государственный областной университет

ИЗ ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИТОНИМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ: ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

A. Letova

Moscow State Regional University

THE HISTORIC RESEARCH OF THE PHYTONYMIC VOCABULARY: LINGUISTIC-CULTURAL ASPECT

Аннотация. Статья посвящена теоретическому и лингвокультурологическому аспектам изучения фитонимической лексики. Теоретический аспект направлен на определение семантического объёма таких понятий, как: «фитоним», «фитонимика», «фитонимическая лексика», а также обосновывает использование указанных терминов в лингвистической литературе. В статье рассматриваются существующие с XIX в. подходы и пути лингвокультурологического изучения фитонимических единиц, обобщается опыт исследования данного фрагмента лексической системы на современном этапе.

Ключевые слова: фитоним, фитонимическая лексика, фитонимика, лингвокультурологический аспект, сакральный аспект, фольклор.

Abstract. The article deals with the theoretical and linguistic-cultural aspects of the phytonymic vocabulary. The theoretical aspect defines semantics of the terms «phytonym», «phytonymy», «phytonymic vocabulary» and justifies the usage of these terms in linguistic literature. The article also dwells on existing since 19th century linguistic-cultural research of phytonymic vocabulary and summarizes the experience of modern theories.

Keywords: phytonym, phytonymic vocabulary, phytonymy, linguistic-cultural aspect, sacral aspect, folklore.

Как известно, опыт духовного и культурного развития человека фиксируется наименованиями предметов и явлений окружающей действительности, поэтому изучению лексических единиц в языковедческой литературе уделяется особое внимание. Данная статья направлена на исследование научного материала, в котором разработаны и представлены основные пути анализа фитонимической лексики с позиций лингвокультурологии. Внимание к фитонимии обусловлено тем, что слова, номинирующие растения, фиксируют и отражают процесс познания и освоения мира флоры в русской культуре. Таким образом, исследование фитонимов позволяет решить терминологические, лингвокультурологические, этнолингвистические и лингвофольклористические проблемы.

Одной из актуальных проблем, связанных с историей исследования фитонимической лексики, является определение семантического объёма понятия «фитоним», т. к. в языкознании нет общепринятого толкования данного термина, несмотря на его активное использование в лингвистике, начиная с 70-х гг. XX века. Согласно исследованиям Ю.А. Дьяченко, в лингвистической науке существует как узкое, так и широкое понимание обозначенной терминологической единицы [7, с. 11-12]. Первые попытки толкования понятия были предприняты в отдельных статьях, в которых «фитоним» служил обозначением наи-

менованний «собственных индивидуальных растений» [7, с. 11-12], т. е. «фитонимика», представляющая собой совокупность названий реалий растительного мира, рассматривалась как особый раздел ономастики – лингвистической науки, «занимающейся всесторонним изучением имён собственных» [2, с. 7]. Применительно к лингвистическому анализу «фитоним» впервые был употреблен А.В. Суперанской в книге «Общая теория имени собственного», где говорилось об узком толковании данного понятия на примере исследования наименований таких растений, как: Царский дуб, Дерево плача и др. [13, с. 189]. Впоследствии «фитоним» в значении «собственное имя любого растения» использовался Н.В. Подольской в «Словаре русской ономастической терминологии» [10, с. 158]. В широком понимании данное понятие было представлено в работах Т.А. Бобровой, рассматривавшей «фитоним» как «терминологическое название всех растений (малина, калина, базилик)» [7, с. 13]. Вследствие своего семантического развития и активного употребления в исследовательских трудах, посвящённых изучению номинативного и ономастического аспектов, термин «фитоним» в 90-х гг. XX в. в своем широком понимании был закреплен лексикографической практикой этимологических словарей и представлен как «ученый неологизм», «искон. греческое сочетание *phytonim* «растение» и *онума* «имя, название», «название растения (одуванчик, сосна)» [17, с. 343].

В нашей статье наряду с термином «фитоним», под которым подразумевается «семантическая общность наименований деревьев, трав, кустарников, цветов, ягод, овощных и иных культур», используется термин: «фитонимика» – «совокупность фитонимических единиц», «фитонимическая лексика» – «названия всей совокупности слов данного тематического пласта: собственно фитонимов, названий частей растений, собирательных существительных, производных прилагательных и т. д.» [7, с. 12].

Интерес к разноаспектному изучению фитонимической лексики проявлялся в отечественной лингвистике довольно устойчиво. Первые попытки лингвистического толкования народных названий растений, связанные с культурологическим аспектом изучения языковой системы, были сделаны в XIX в. Так, Ф.И. Буслаев, как основоположник отечественной мифологической школы, в своей статье «Значение собственных имен лютики, вильцы и волчки в истории языка» одним из первых обозначил связь наименований растительных реалий с жизнью народа, с его нравами, верованиями и пришёл к выводу, что: «...самая номенклатура народной ботаники ведёт нас в период мифологический» [5, с. 17]. В своих научных трудах Ф.И. Буслаев рассматривал слова прежде всего как элементы культуры, как «верное выражение преданий и обрядов, событий и предметов», поскольку «изобразительным воззрением слово живописало страсти и духовные способности человека, и своей изобразительностью порождало веру в вещественное явление духовного» [4, с. 8-9]. Таким образом, Ф.И. Буслаев указал на то, что фитонимические единицы необходимо исследовать только посредством обращения к символике мифологического восприятия окружающего мира, т. к. «...народ, образуя язык, находится в периоде бессознательного обоготворения сил природы: следовательно весь язык, прошедший этот период, удерживает на себе следы первоначального мышления» [4, с. 31].

Лингвокультурологический аспект изучения фитонимической лексики на основе мифологического подхода, намеченного Ф.И. Буслаевым, продолжили такие ученые, как М.И. Забылин, А.С. Будилович, А.С. Ермолов. М.И. Забылин в исследовании «Народный цветник» неоднократно указывал на невнимание этнографической науки к народной ботанике, в выводах по работе писал: «К сожалению, сведений весьма мало <...>, было бы весьма не дурно для полноты изучения нашего народного быта, как пособия»

истории, развить этими путями такие дорогие сведения, как наша <...> народная ботаника» [9, с. 438].

Значительный вклад в исследование тех названий растений, которые сохранили о себе память в обрядах, легендах, этнографических материалах, внёс А.С. Будилович. В своих трудах: «Первобытные славяне в их языке, быте и понятиях по данным лексикальным», «Несколько замечаний об изучении славянского мира» – учёный обращал внимание на установление этимологии некоторых названий растений на основе данных славянской мифологии, тем самым обозначил связь ботанической номинации с духовной, исторической и культурной жизнью славян [6, с. 12-53]. Задача этнографических исследований А.С. Ермолова («Русский народ. Календарь народных примет» и др.) состояла в определении роли мира флоры в обрядовой культуре [8, с. 10-28].

Взросший интерес к исследованию фитонимики с точки зрения лингвокультурологического и этнолингвистического аспектов наблюдается в конце XX века. Академик Н.И. Толстой в своих работах, посвящённых слову в контексте культуры, обрядовым предметам и действиям, особое внимание уделил символике растительного мира. Так, в статье «Мужские» и «женские» деревья и дни в славянских народных представлениях» учёный рассуждал о том, что растения, согласно народному мифологическому восприятию природы, в сознании славян имманентны, т. е. представляют собой живые существа, подобные «существам человеческим» [14, с. 333]. На основе символического определения «рода» растений учёный приходит к выводу о том, что «язык и его категории способствуют возникновению мифологического мышления и мифологических представлений» [14, с. 338]. Большой вклад в исследование «растительных кодов» внесли работы этнолингвистов: Т.А. Агапкиной, С.М. Толстой, Л.Н. Виноградовой, Т.Н. Уфимцевой, А.Л. Топоркова и др. По мнению исследователей, «культурный код», зафиксированный в языковых формах

фитонимических единиц, усваивается человеком с момента осознания своей принадлежности к определённому этносу, культуре [3, с. 9]. Представленные в этнолингвистическом словаре «Славянские древности» работы учёных направлены на исследование тех фитонимических единиц, которые являются важными атрибутами обрядовой деятельности славян и находят своё отражение в фольклорных мотивах, отмеченных в песнях, играх, хороводах, загадках и т. д. [12].

Особого внимания заслуживают современные лингвистические исследования в области фитонимики, целью которых служит раскрытие сакральных смыслов, связанных с наименованиями растений. Исследовательские работы, посвящённые данному аспекту, позволяют вывести «повествование за границы исключительно растительного мира» в область самого широкого культурного контекста: от богословия к народному обряду и фольклору [16, с. 2]. Так, А.В. Часовникова в работе «Христианские образы растительного мира в народной культуре» с культурологических позиций анализирует такие наименования растений, как *петров крест*, *адамова голова*, *священная верба*. Обозначенные фитонимы рассматриваются учёным как отражение синкретического восприятия мира, построенного на сплетении в традиционной народной лексике языческих и христианских образов, при этом «народное христианство» и церковь рассматриваются в исследовании «не разведёнными по разным полюсам», а, напротив, «по принципу взаимовлияния, дополнения» [16, с. 2]. Таким образом, исследователь приходит к выводу, что наименования растений позволяют познать «символический тип мировосприятия», определяющий «христианизацию» природной среды [16, с. 11-12]. Сакральный аспект исследования фитонимических единиц, в самом названии которых «скрывается уже намёк на то, что с ними связаны религиозные или апокрифические сказания» [11, с. 5], представлен и в диссертационной работе Т.Н. Бурмистровой «Сакральная фитонимия: лингвокультуроло-

логический аспект». В данном исследовании понятие «сакральное» рассматривается как с позиций «видения библейской ботаники в реалиях родной природы» [16, с. 12], так и с точки зрения широкого спектра значений: 'священный', 'обрядовый', 'ритуальный', 'таинственный', 'сверхъестественный' (например: *божья милость, белена, сердцевая трава, благовонник* и др.) [3, с. 4]. В работе приняты попытки систематизации лексического материала, представлена классификация сакральной фитонимии через призму внутренней формы, в основе которой лежат признаки, свойства именуемой растительной реалии.

Лингвофольклористический подход к анализу фитонимической лексики представлен в исследованиях М.А. Бобуновой «Динамика народно-песенной речи (на материале фитонимической лексики в необрядовой русской народной лирической песне)», А.Т. Хроленко «Введение в лингвофольклористику». Работа М.А. Бобуновой представляет собой первое монографическое описание диахронических изменений в языке русского фольклора на примере систематизации и классификации фитонимической лексики [1, с. 8]. Учёный приходит к выводу, что фитонимы играют важную роль в образовании «устойчивых языковых конструкций, которые составляют ядро поэтической фразеологии фольклора» (например: *калина-малина, трава-цветы, куст-лист*), тем самым подчёркивая значительную устойчивость лексикотематической группы «растительный мир» в языковой системе народной лирики [1, с. 8].

Лингвофольклорист А.Т. Хроленко исследует отдельные, наиболее частотные фитонимические единицы, которые функционируют в контексте народных лирических песен («калина», «малина», «виноград» и т. д.), с позиций 'фольклорного слова'. Учёный констатирует тот факт, что значения растительных реалий, особенности их бытования в фольклорных текстах определяются «человеческим аспектом», его эмоциональным миром [15, с. 49]. С антропоморфных пози-

ций на примере фитонимической лексики исследователь объясняет понятие «алогизм», которое предполагает символически оправданное «смещение» и «взаимозамену» таких фитонимов, как *берёза-рябина-сосна, малина-калина, березовая-осиновая* и т. д. [15, с. 35]. По мнению исследователя, «алогизм» «служит эффективным средством передачи эмоционального содержания песни» [15, с. 35], тем самым раскрывает семантическую ёмкость фитонима как фольклорного слова.

Как видно, перечень работ весьма обширен, но всё же нет оснований говорить о достижении полного описания фитонимии, составляющей важный фрагмент лексической системы русского языка. Приведённые в качестве примеров работы отражают основные теоретические установки и подходы, направленные на исследование фитонимии с точки зрения лингвокультурологии, одного из актуальных направлений современных лингвистических исследований. Основные положения представленных работ сводятся к следующему: наименования фитонимической лексики определяются символическими представлениями о поле растений в славянском народном мифологическом сознании; каждая фитонимическая единица в фольклорном дискурсе чрезвычайно ценна для понимания русской культуры, обрядов, традиций; исследование фитонима как единицы культуры должно быть многоаспектным и комплексным, что предполагает опору на широкий круг библейских, фольклорных и этнографических источников, т. к. только при таком подходе могут быть раскрыты его семантические особенности, сакральная и мифологическая символика.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Бобунова М. А. Динамика народно-песенной речи: (на материале фитонимической лексики в необрядовой русской народной лирической песне): Автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.01. – Воронеж, 1990. – 22 с.
2. Бондалетов В. Д. Русская ономастика. – М.: Просвещение, 1983. – 224 с.
3. Бурмистрова Т. Н. Сакральная фитонимия: лингвокультурологический аспект: Автореф.

- дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.01. – Екатеринбург, 2008. – 24 с.
4. Буслаев Ф. И. О влиянии христианства на славянский язык. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 210 с.
 5. Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 420 с.
 6. Будилович А. С. Несколько замечаний об изучении славянского мира. – СПб., 1878. – 54 с.
 7. Дьяченко Ю. А. Фитонимическая лексика в художественной прозе Е.И. Носова: дисс. ...канд. филол. наук. – Курск, 2010. – 18 с.
 8. Ермолов А. С. Русский народ. Календарь народных примет. – М.: ЭКСМО, 2005. – 254 с.
 9. Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. Собр. М. Забылиным. – М.: Эксмо, 2002. – 438 с.
 10. Подольская Н. В. Словарь ономастической терминологии. – М.: Наука, 1978. – 348 с.
 11. Сумцов Н. Ф. Очерки истории южно-русских апокрифических сказаний и песен. – Киев, 1888. – 151 с.
 12. Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под общ. ред. Н.И. Толстого. В 5 т. – М.: Международные отношения, вых. с 1999.
 13. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. – М.: Наука, 1973. – 366 с.
 14. Толстой Н.И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. – М.: «Индрик», 1995. – 512 с.
 15. Хроленко А.Т. Введение в лингвофольклористику: учеб. пособие. – М.: Флинта: Наука, 2010. – 192 с.
 16. Часовникова А. В. Христианские образы растительного мира в народной культуре. Петров крест. Адамова голова. Святая верба. – М.: Индик, 2003. – 248 с.
 17. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Этимологический словарь русского языка. – М.: Прозерпина, 1995. – 328 с.

УДК 811.161.1'373.232(038)

Родина Н.А.

Смоленский государственный университет

**ДИНАМИКА БЫТОВАНИЯ МОЛОДЁЖНЫХ ПРОЗВИЩ, СВЯЗАННЫХ
С ВНЕШНИМ ВИДОМ ЧЕЛОВЕКА
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОЗВИЩ Г. СМОЛЕНСКА)**

N. Rodina

Smolensk State University

**THE DYNAMICS OF THE EXISTING YOUTH NICKNAMES
CONNECTED WITH THE APPEARANCE OF THE PERSON
(ON THE MATERIAL OF THE NICKNAMES OF SMOLENSK)**

Аннотация. В настоящей статье рассматривается динамика бытования современных молодёжных прозвищ, активных неформальных идентификаторов и показателей «прозвищного самосознания» личности, на примере функционирования прозвищ в разновозрастных группах жителей города Смоленска. Впервые вводимый в научный оборот живой фактический материал, собранный методом специального анкетирования, позволяет показать, как в цепочке «детский сад» – «школа» – «колледж» – «вуз» меняется состав прозвищ, их роль как особых выделительных языковых знаков в коммуникации.

Ключевые слова: прозвище; молодёжь; внешний вид человека; прозвищное самосознание; способ номинирования; динамика бытования прозвищ.

Abstract. In the present article the author considers the dynamics of the existing modern youth nicknames, active informal identifiers and indicators of the «nickname consciousness» of a person, on an example of functioning of the nicknames of Smolensk inhabitants from different age-groups. For the first time the live actual material is entered into a scientific turn collected by a method of special survey, and now it allows to show, how in a chain «kindergarten» – «school» – «college» – «university» the structure of nicknames and their role as special excretory linguistic signs in communications change.

Keywords: a nickname; the youth; the appearance of a person; the nickname consciousness; a way of nominating; the dynamics of an existing nicknames.

Одно из энциклопедических определений понятия «молодёжь» в отечественной социологии было дано И.С. Коном: «Молодёжь – социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и обусловленных тем и другим социально-психологических свойств» [4, с. 478]. Сегодня, по мнению социологов, молодёжь выполняет функцию оживляющего посредника социальной жизни и нуждается во всестороннем изучении [6; 12; 13].

Таким образом, молодёжь является объектом разноаспектного исследования, в том числе и с точки зрения языка молодёжной коммуникации. В основном рассмотрению подлежит жаргонная лексика [1; 5; 11], однако остаются далеко не достаточно изученными прозвища, формирование которых обусловлено очевидными характеристиками коммуникантов [3; 7; 8; 10; 14; 15; 16]. Следует подчеркнуть, что во многих упомянутых и других работах по прозвищам молодёжные прозвища исследуются лишь попутно.

Обратимся к Словарю русской ономастической терминологии: «Прозвище – вид антропонима. Дополнительное имя, данное человеку окружающими людьми в соответствии с его

характерной чертой, сопутствующими его жизни обстоятельствами или по какой-либо аналогии» [9, с. 115].

Являясь неформальным идентификатором человека, прозвище выступает в роли «точного» его зеркала, благодаря которому лицо обретает возможность наконец-то увидеть себя так, как его видят все окружающие, и утвердиться в соответствующем качестве [2, с. 31].

В своём исследовании мы обращаемся к анализу прозвищ, характеризующих разновозрастных носителей: воспитанников детских садов, учащихся школ, средних специальных учебных заведений и вузов г. Смоленска. С помощью опроса методом анкетирования и прямого интервьюирования нами были получены данные, касающиеся как

языкового материала, так и возрастных особенностей носителей прозвищ. Опрос проводился в одиннадцати садах, трёх школах, четырёх средних специальных учреждениях и восьми вузах. Мы считаем, что региональный материал позволяет более глубоко и точно вскрыть генезис молодёжных прозвищ и показать динамику их функционирования, так как он ограничен локально.

В результате анализа мы собрали 1307 молодёжных прозвищ. Для настоящей статьи мы выбрали анализ прозвищных именованных, связанных с внешностью человека, потому что особенности внешности наиболее наглядны и являются богатным материалом для возникновения прозвищ. Это же подтверждается количеством собранных единиц – 275 (см. табл. 1).

Таблица 1

Распределение общего количества прозвищ, в том числе связанных с внешностью носителя, по возрастным группам респондентов

Возрастная группа	Всего прозвищ	«Внешностных» прозвищ; единиц	«Внешностных» прозвищ; %
Детский сад	68	13	19,1
Школа	540	128	23,7
Колледж, техникум	145	37	25,5
Вуз	554	97	17,5

Обратимся к качественному анализу собранного материала.

В детских садах эта группа прозвищ достаточно распространена и отражает либо реальный внешний вид носителя, выделяющий ребёнка, либо сравнение с героями мультипликации и литературных произведений. К первой группе относятся такие именованные, как «БУлка» (пухляк), «ДЫлда» (высокая), «КнОпка» (невысокая девочка), «КУкла» (миниатюрная девочка), «ЛьвЁнок» (пышные, вьющиеся волосы у девочки), «МалОй» (невысокий мальчик), «ПОНчик» (пухлый), «ПОтник» (у мальчика сильно пахнут носки), «СметАна» (светлая кожа у девочки). Во вторую группу входят следующие прозвища: БАрби, БелоснЕжка, ЛОллочка-ДюймОвочка.

По частеречной принадлежности лишь одно прозвище МалОй относится к именам прилагательным, остальные – существительные, часто исходно имена собственные: БАрби, БелоснЕжка, ДюймОвочка. Последнее – единственное из именованных, употребляющихся вместе с официальным именем ребенка.

Грамматически только одно прозвище – ЛОллочка-ДюймОвочка, созданное для рифмы, представляет собой словосочетание, остальные же являются однословными образованиями.

Школьные «внешностные» прозвища также активны, хотя не занимают приоритетных позиций на общем фоне прозвищ. Для номинирования используются следующие

признаки: 1) особенности телосложения, роста и отдельных частей тела – БамбУча (пухляя девочка), ГубошлЁп (мальчик с большими губами), ДлИнный (высокий мальчик), ЖиркомбинАт (пухлый мальчик), ЛЫсый (мальчик с короткими волосами), МалАя (невысокая девочка), ОчкАрик (девочка в очках), СИвая (девочка со светлыми волосами), ТолстЯк (пухлый мальчик), УшАстик (у мальчика большие уши); 2) сравнение со знаменитостями, литературными и экранными персонажами – БуратИно (большой нос), ВИНни-Пух (пухлый), ГуллиВЕР (высокий), ДЭцл (низкорослый), ДЯдя СтЁпа (высокий), ЙОда (миниатюрный), КапитОшка (невысокая), КолобОк (пухляя), КошЕй (худой), ЛилипУт (невысокая), ПОттер (носит очки), ПугачЁва (любит носить балахоны), РОкки (атлетическое телосложение), СвЕта БУкина (блондинка), ТерминАтор (ярко выраженная мускулатура), ЧебурАшка (большие уши), ЧубАка (длинные волосы у мальчика). Поскольку картина мира школьников расширяется, они могут активно ассоциировать друг друга с представителями флоры, фауны, а также неживого мира. Напоминанием о подобии растениям и животным стали прозвища Аист (большой нос), БарАн (кудрявые волосы), БарАшек (кудрявые волосы), БульдОг (массивная челюсть, неправильный прикус), ГлИст (худой), Грач (большой нос), Ёжик (короткие волосы), ЖирАф (высокий), КИлька (маленькая), ЛемУр (большие глаза), МамонтЁнок (пухляя), МоркОвка (рыжие волосы), ОвЕчка (кудрявые волосы), ПАльма (высокая), ПаУк (высокий с длинными руками и ногами), ПомидОр (часто краснеет от волнения), СелЁдка (худая), СтРАус (высокая). Названия неодушевлённых реалий реализуются в таких прозвищах, как БОмба, БОчка, БУблик, БУлочка (полные), ДосКА (худая), КнОпка (миниатюрная), КостЯшка (худая), ПирожОк (пухлый), ПОНчик (пухлый), Палка (худая), СкелЕт (худой), СкрЁпка (у девочки сколиоз), СнОп (у девочки причёска, похожая на сноп сена), СолОмка, СпИчка (худые), ШвАбра (высокая), ШкАф

(высокий, накачанный), ШпАла (высокий), ШпУнь (миниатюрная), ШтукатУрка (у девушки много косметики на лице), ФлЕшка (худая).

По способу образования большинство данных прозвищ является метафоричными, подразумевающими скрытое сравнение: зубы, как у ВампИра, худой, как КошЕй, маленький, как МуравЕй, солнечный, как ТашкЕнт и др. Используется и метонимия: Кудряшка (название одного локона переносится на всю девочку), СнОп (причёска, напоминающая сноп сена, становится именованьем девочки), ГОлод (надпись на кепке превращается в прозвище мальчика).

Из 112 прозвищ 100 являются именами существительными, в состав двенадцати входят имена прилагательные, 20 представляют собой имена собственные: БуратИно, БухенвАльд, ВасилИса, ВИНни-Пух, ДЭцл, ДЯдя СтЁпа, ЙОда, КолобОк, КошЕй, ПУмба, РОкки, СвЕта БУкина, ТерминАтор, ЧебурАшка.

С грамматической точки зрения школьные прозвища в основной массе относятся к однословным образованиям, лишь три идентификатора – ДЯдя СтЁпа, СмЕрть с КосОй и ЧЁрный КрасАвчик – являются словосочетаниями.

В одной из школ, в которых мы проводили опрос, было выявлено 16 дразнилок с использованием прозвищ по внешности учащихся. Пять из них относятся к телосложению ребёнка, например: «Жирный пончик, Дай талончик: Нечем печку растопить!». Две дразнилки описывают рост: «Дяденька, достань воробушка!», «Моряк, с печки бряк, Растянулся, как червяк: Руки-ноги – на пороге, Голова – на дороге!». Четыре акцентируют внимание на носе, например: «Дрозд, дрозд, Прост, прост, Кованый нос, Железный хвост». Также обращается внимание на волосы учащегося «Овца из Гороховца!»; зубы – «Дразнило – собачье рыло!»; губы – «Губы, губы два аршина, По губам бежит машина, За машиной – машинист: «Губы стой, остановись!»; одежду – «Зима-лето попугай!» и обобщённый образ ребёнка – «Командир

полка – Нос до потолка, Уши до дверей, А сам, как воробей!».

Данные именованья представляют собой разнообразные сложные грамматические структуры: фразы и предложения.

У учащихся смоленских колледжей и техникумов рассматриваемая группа прозвищ в количественном отношении находится на втором месте, уступая лишь отфамильным прозвищам.

Прямое описание характерно для таких идентификаторов, как то: БородА, КрАсная, МалЫшка, ЧернЯвая, ЧупАтый, ПрАзднично ПУхлая, ТОлстый. Заметим, что дважды встречаются именованья МалАя и Мелкая, что говорит о их своеобразной популярности. Среди собранных прозвищ данной возрастной группы сравнение с известным персонажем очевидно лишь для одного прозвища – ФУнтик. Больше всего именованний отражают сравнение с представителями флоры и фауны, например: БЕлка, БельчОнок (рыжие волосы), МОська (курносый нос), МЫшина (маленький рост), ОдувАнчик (кучерявые волосы), ПомидОрка (часто краснеет), РОза (красивая). Сюда же отнесём сравнения с другими людьми: КитАец (раскосые глаза), МатрОна (пухлая), МолдовАночка (смуглая). Меньше метафоризация идёт у прозвищ на базе предметной лексики: АлкатЕль (у девушки мобильный телефон этой марки), БУлочка (пухлая), КнОпа, КрОшечка (миниатюрные), ЛЯля (кукольно красивая), ПОНчик (пухлый), ЧешИрская (у студентки на футболке изображен Чеширский кот).

Среди «внешностных» прозвищ учащихся колледжей и техникумов преобладают имена существительные – 21 единица, остальные – это 15 прилагательных и одно наречие, входящее в состав прозвища ПрАзднично ПУхлая. Имён собственных среди апеллятивов нами выявлено только два: ФУнтик и АлкатЕль.

По своей грамматической структуре именованья данной возрастной группы в основном являются одиночными словами, за исключением идентификатора ПрАзднично

ПУхлая, который представляет собой словосочетание.

В высших учебных заведениях студенты чаще всего преобразуют в прозвища фамилии друг друга. На втором месте в качестве мотивировки – поведение, характер и увлечения учащихся. Мы можем объяснить нечастое создание «внешностных» прозвищ в вузах тем, что в возрасте от 18 лет в коммуникации для молодёжи наибольший интерес представляет сфера деятельности друзей, однокурсников и т. п. Внешний вид отходит на второй план, возможно, в силу пропаганды толерантности, а также из-за общей «пестроты» студенчества, на фоне чего индивиду сложно как-либо выделиться.

Среди студенческих прозвищ так же, как и в колледжах и техникумах, больше всего метафорических образований, мотивированных наименованиями животных, растений, особенностями отдельных людей, например: АмЁба (бледный цвет кожи у студентки), БЕлка (рыжие волосы), ВИшенка (студентка носит одежду вишнёвого цвета), ГрИба (низкорослый), ЗЁбра (девушка предпочитает в одежде чёрно-белые сочетания), ЙЕти (длинные волосы у парня), КрОлик, КрЫса (большие зубы у студенток), ЛемУрчик (большие глаза у девушки), ЛьвЁнок (пышные волосы), МалЁк (невысокая), МедвежОнок (неуклюжая походка), МоркОвка (рыжие волосы), МОсечка (миниатюрная), МУрочка («кошачья» внешность), ПопугАй (девушка любит вертеть головой), ПотАп (похож на медведя телосложением и походкой), РомАшка (у студентки изображены ромашки на халате), СлепОй ОрЁл (плохое зрение у студентки), СлОн (высокий и толстый), СовУнья (большие глаза), СУслик (большие зубы у девушки), ХамИль (глаза студента меняют оттенок), ХомЯк (пухлый), ЦЫпа (худой). Несколько меньше прозвищ, основой для появления которых стало сравнение с неживыми объектами реальности: БАшня (высокий), БУблик (пухлый), БУсинка (голубые глаза у девушки) ГрИва (пышные волосы), ГлОбус (лысый), КартИнка (красивая), Кир-

пИч (загорелая кожа у парня), КнОпа (миниатюрная), КрАсный ШАрф (у девушки есть такой аксессуар), КУкла (красивая), ПЕсня (общее положительное впечатление от внешности девушки), РАдуга (студентка предпочитает яркие цвета в одежде), ЧУпик (причёска у девушки похожа на конфету). Далее по численности следуют прозвища – прямые описания студентов: БЕлый (блондинка), ДлИнный (высокий), ЗелЁный (одежда зелёного цвета), КопчЁный (загорелая кожа у студента), КрасотУля (красивая), КудрЯвая, КудрЯшка (кудрявые волосы), ЛохмАтый (длинные волосы), ЛЫсый, МалОй (младший по возрасту), МилАшка, ПушИстик (длинные густые волосы), РЫжая (рыжие волосы), СИвый (блондин), СОлнечная (блондинка), ТЁмная (девушка любит носить всё тёмное). Наименьшее количество прозвищ связано со сравнением людей с литературными и мультипликационными персонажами, общественными деятелями, деятелями культуры и др.: БрЕжнев (густые брови), БуратИно (большой нос), СИняя Рука (яркие вены на руке студента), ГнОмик (невысокий), ДЯдя СтЁпа (высокий), КолдУнья (зелёные глаза), СпартАк, ТАйсон, ТерминАтор (накачанные студенты), УкУпник (светлые вьющиеся волосы у парня), ЧебурАн и ЧебурАтор (большие уши у студентов).

Рассмотрев собранные прозвища, мы обратили внимание на некоторые языковые особенности. Так, правда редко, встречаются омонимы: ЛЫсый (безволосый) и ЛЫсый (с длинными волосами). Мы считаем, что в последнем случае имеет место оксюморон. Также интересна устойчивость, на первый взгляд, устаревшего, с точки зрения сравнения, прозвища ДЯдя СтЁпа, которое присутствует и в коллективах младших школьников, и у студентов. Прецедентное имя ярко ассоциируется с ростом человека. Имеет место словообразование, приводящее к возникновению самостоятельных прозвищ: Белка → БельчОНОК, Булка → БулОЧКА, Мышь → МЫШИНа, Чебурашка → ЧебурАн, ЧебурАТОР. Однако в некоторых случаях словообра-

зование приводит к смене значения: МОська (курносая), МОсечка (миниатюрная).

Морфологически преобладают имена существительные – 68 единиц. Прилагательные входят в состав 29 прозвищ.

По своей грамматической отнесённости вузовские «внешностные» прозвища в большинстве своём являются одиночными словами, но четыре именованья несколько сложнее – ДЯдя СтЁпа, КрАсный ШАрф, СИняя Рука, СлепОй ОрЁл – это словосочетания.

Таким образом, проанализировав собранный фактический материал, на примере функционирования одной группы прозвищ в различных возрастных коллективах, мы можем посмотреть на динамику бытования прозвищ.

Прозвища являются важным социальным маркером в молодёжной среде, так как выполняют различительную функцию.

Мотивированные внешностью носителя прозвища ни в одной возрастной группе количественно не лидируют, но имеют достаточно большой процент от общего числа единиц (17,5% – 25,5%) – это свидетельствует о стабильности бытования данной категории прозвищ.

В дошкольных учреждениях преобладают прозвища, данные детям за общий внешний вид и телосложение. В школьном возрасте учащиеся также больше всего обращают внимание на комплекцию товарищей и их рост и в итоге присваивают им прозвища. Позднее, в колледжах и техникумах, акцент смещается на причёску молодых людей, однако высота и миниатюрность как мотивировка для идентификатора также сохраняет актуальность. Все выделительные признаки, связанные с темой волос, активизируются в создании вузовских прозвищ, значительно меньше в этой возрастной категории именованья по росту и общему впечатлению от внешности студента.

Часть данных прозвищ обусловлена сравнением с литературными персонажами, теле- и киногероями, а также именами и фамилиями реально существующих людей. В

различных возрастных группах данная категория представлена по-разному, что отражает преференции представителей.

Некоторые прозвища повторяются как внутри одной возрастной группы, так и проходят через несколько групп, что свидетельствует о своеобразной преемственности в именовании молодых людей – Длинный, Дядя Стёпа, Сивая и т. п.

По способу образования «внешностные» прозвища в большинстве своём представляют собой метафоры, что объяснимо характерным сравнением зримых особенностей человека с кем-то или чем-то. Многие именованья являются производными от исходных апеллятивов, образованы аффиксально.

Подавляющая часть прозвищ рассматриваемой группы морфологически относима к именам существительным – как нарицательным, так и собственным.

Грамматически прозвища данного типа в основном являются одиночными словами, гораздо реже используются словосочетания. Школьные дразнилки – это чаще всего фразы и предложения.

Именованья, отражающие какие-либо внешние отличительные качества индивидуума, напрямую указывающие на его достоинства или недостатки, могут подвинуть его к пересмотру своего образа, поэтому такие прозвища играют особую роль в становлении так называемого «прозвищного» самосознания.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Беглова Е. И. Семантико-прагматический потенциал некодифицированного слова в публицистике постсоветской эпохи: Автореф. дисс. ... д-ра филол. наук. – М., 2007. – 50 с.
2. Берестнев Г. И. Прозвище как фактор самосознания // Семантические единицы и категории русского языка в диахронии. Сб. научн. тр. – Калининград: КГУ, 1997. – С. 30 – 36.
3. Денисова Т. Т. Прозвища как вид антропонимов и их функционирование в современной речевой коммуникации: на материале прозвищ Шумячского и Ершичского районов Смоленской области: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Смоленск, 2007. – 24 с.
4. Кон И. С. Молодёжь // Большая советская энциклопедия. 3-е изд., т. 16. – С. 478.
5. Кудинова Н. А. Функциональный аспект языка молодёжной субкультуры начала XXI в.: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Курск, 2010. – 19 с.
6. Мангейм Карл. Диагноз нашего времени. – М.: Юрист, 1994. – 700 с.
7. Никулина З. П. Из наблюдений над группой прозвищ по внешнему признаку // Имя нарицательное и собственное / Отв. ред. А. В. Суперанская. – М., 1978. – С. 173 – 179.
8. Никулина З. П. О структуре и формировании семантики прозвища // Семантическая структура слова. – Кемерово, 1984. – С. 88–97.
9. Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. – М.: Наука, 1978. – С. 175.
10. Попова Е. И. Личное имя в коммуникативном аспекте (на материале обращений в студенческой среде): Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Смоленск, 2009. – 21 с.
11. Россихина М. Ю. Молодёжный жаргон в русской и немецкой лексикографии XIX–XXI вв.: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Курск, 2009. – 22 с.
12. Социальный облик российской молодёжи в начале XXI века: Коллективная монография. – М.: РУДН, 2009. – 235 с.
13. Социология молодёжи / Под ред. В. Т. Лисовского. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996. – 368 с.
14. Стаханова И. С. Прагматика школьных прозвищ: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Волгоград, 2011. – 26 с.
15. Стрельцова М. Ю. Прозвищные именованья в русском языке (денотативные типы и структурно-семантические модели): Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Владивосток, 2010. – 26 с.
16. Суперанская А. В. Современные русские прозвища // Хабарши вестник. Филология сериясы №6 (78). Серия филологическая. – Алматы: Казак университет, – 2004. – С. 43 – 50.

УДК 811.161.1

Свиридова Е.А.

Мичуринский государственный педагогический институт

МЕТАФОРИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В КОРПУСЕ КНИЖНОЙ И НЕЙТРАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ

E. Sviridova

Michurinsk State Pedagogical Institute

METAPHORICAL PROCESSES IN THE BLOCK OF BOOK AND NEUTRAL VOCABULARY

Аннотация. Статья посвящена семантико-стилистическим процессам, обусловленным метафорическим переосмыслением языковых знаков на рубеже XX–XXI вв. На материале современной прессы рассматриваются метафоризация, детерминологизация и терминологизация книжных и нейтральных единиц. При описании семантических и стилистических преобразований слов учитываются данные лексикографических источников различных исторических периодов и особенности функционирования лексических единиц в современных газетно-журнальных текстах. Книжная лексика выполняет в публицистическом дискурсе важные функции. Она даёт семантическую информацию о явлениях внешнего мира. Метафорическое переосмысление книжных слов делает язык публицистического текста ярким, образным, выразительным, а следовательно, способным эффективно воздействовать на массового читателя.

Ключевые слова: метафорические процессы, метафоризация, детерминологизация, терминологизация, книжная лексика, нейтральная лексика, функции книжных слов.

Современный этап развития лексики русского литературного языка характеризуется разнообразными лексико-семантическими и стилистическими процессами, которыми охвачены единицы всех разрядов – книжные, разговорные, нейтральные.

Цель данной статьи – рассмотреть семантико-стилистическое преобразование книжных и нейтральных единиц в результате метафорических процессов: метафоризации и возникающих на её основе детерминологизации и терминологизации языковых знаков.

В качестве материала исследования использованы лексические единицы, извлечённые из современных газетно-журнальных текстов, а также из «Толкового словаря русского языка начала XXI века. Актуальная лексика» [16].

Abstract. The paper is devoted to semantic-stylistic processes related to metaphorical reinterpretation of language signs at the turn of 20th-21st centuries. Metaphorization, determinologization and terminologization of bookish and neutral units are considered on the material of the modern media. Data of lexicographic sources of different historical periods and the peculiarities of lexical items in modern newspaper and journal texts are used in the description of the semantic and stylistic transformations of words. Bookish vocabulary performs important functions in journalistic discourse. It provides the semantic information about the phenomena of the external world. Metaphorical reinterpretation of the bookish words makes the language of journalistic text bright, imaginative, expressive, and therefore able to effectively influence the general reader.

Keywords: metaphorical processes, metaphorization, determinologization, terminologization, book vocabulary, neutral vocabulary, functions of bookish words.

Метафоризация – семантический процесс, связанный с переосмыслением, изменением значения языковой единицы, в основе которого лежит перенесение названия с одного предмета, явления на другой на основе их сходства. Данный процесс может сопровождаться сужением или расширением значения, а также появлением новых слов-омонимов [4, с. 88]. В основе метафоризации лежит метафора – «употребление слова, обозначающего некоторый класс объектов, явлений, действий или признаков, для характеристики или номинации другого, сходного с данным класса объектов или индивида» [1, с. 233], которая обычно развивается «как результат оценочно-образного переосмысления производящей основы в процессе образования экспрессивных единиц» [18, с. 11].

В современной прессе активно функционируют специальные слова и термины в переносном употреблении, например: *индикатор, эрозия, симбиоз, молекула, колба, инфаркт, перезагрузка, драйвер* и др. Обратимся к контекстам.

В первую очередь внимание всего сообщества обращено к США, состояние экономики которых в значительной мере является *индикатором* ситуации в мировых финансах (РФ сегодня. 2009. № 3); Экспансия образов – *индикатор* культуры воздействия средств массовых коммуникаций (Социально-гуманитарные знания. 2008. № 6).

Существительное *индикатор* фиксируется лексикографическими источниками как термин, о чём свидетельствуют соответствующие пометы. Так, в БАС [13] и СО-2 [11] помета *спец.* маркирует все ЛСВ полисеманта *индикатор*, у которого в БАС зарегистрировано пять значений, а в СО-2 – два. См., например: *индикатор* – (*спец.*) 1) ‘прибор (устройство, элемент), отражающий какой-нибудь процесс, состояние наблюдаемого объекта’. Визуальный индикатор; 2) ‘вещество, являющееся химическим реактивом’. Химический индикатор [11, с. 247].

НБТС [9] фиксирует лексему *индикатор* в трёх значениях, причём только ЛСВ-1 и ЛСВ-

2 зарегистрированы со стилистическими пометами. При ЛСВ-3 помета отсутствует, хотя, как нам представляется, данное значение также имеет ограниченную сферу употребления. См.: *индикатор* – 1) (*техн.*) ‘прибор, устройство, следящее за состоянием объекта наблюдения или течением какого-либо процесса’. Индикатор электрических колебаний; 2) (*хим.*) ‘вещество, которое вводится в исследуемый раствор для обнаружения (изменением цвета, выпадением осадка) химического процесса, происходящего в растворе’. Индикатор щелочных и кислых реакций; 3) ‘картотека для учёта выданных книг (в библиотеке, читальном зале)’. Навести справку по индикатору [9, с. 392].

Считаем, что в современном узусе процессу метафоризации подвергается ЛСВ-1 рассматриваемого языкового знака. В процитированных публицистических статьях существительное *индикатор* употреблено в значении ‘показатель результата каких-либо предпринимаемых действий или изменений в социальной, экономической, культурной и других сферах жизни общества’ (*индикатор культуры воздействия, индикатор ситуации в мировых финансах*).

Регулярное метафорическое употребление терминологической единицы может стать причиной её детерминологизации. Детерминологизация – это переход термина в общеупотребительную лексику, т. е. «широкое распространение узкоспециальных терминов» [6, с. 160]. При детерминологизации термин расширяет смысловое содержание и теряет ряд своих особенностей, в числе которых системность, наличие специального определения – дефиниции, тенденция к однозначности в пределах терминологического поля, отсутствие экспрессии и др. [2, с. 556].

Э.В. Кузнецова выделяет три этапа детерминологизации: 1) общее расширение употребления терминов в публицистическом дискурсе; 2) освоение термина путём переосмысления и его употребление в необычном контексте в переносном значении; 3) полная детерминологизация слова, когда термин

утрачивает и своё специальное значение, и свою экспрессивность, становится одним из производных значений, имеющих по преимуществу нейтральный характер [8, с. 176 – 177].

Наше исследование показывает, что в настоящее время на разных этапах детерминализации находятся слова *коллапс*, *депрессия*, *вакцина*, *аллергия*, *донор*, *паралич*, *дебильность*, *дебилизация*, *метастазы*, *генофонд*, *дивиденд*, *девальвация*, *вектор* и др., активно функционирующие в современных средствах массовой информации, в том числе в газетно-журнальных текстах. Рассмотрим этот процесс на примере слова *депрессия*.

[Александр Солженицын:] Это, в частности, должно способствовать преодолению такого тяжелого нашего наследия, как пореформенный фатализм населения, обуславливающий социальную *депрессию*, ставшую сегодня сильнейшим фактором сдерживания общественного развития в целом (Социально-гуманитарные знания. 2006. № 6).

Сравним смысловое содержание лексемы *депрессия*, представленное в толковых словарях старшего поколения (БАС, МАС [12], СО-1 [10]) и в новейших лексикографических источниках (СО-2, НБТС).

В БАС зарегистрировано пять терминологических значений существительного *депрессия*. См.: *депрессия* – 1) (экон.) ‘упадок, застой в хозяйственной жизни капиталистической страны; отсутствие спроса на товары, низкий уровень производства’; 2) ‘угнетённое, подавленное психическое состояние’; 3) (метеор.) ‘область понижения атмосферного давления или низкого стояния барометра’; 4) (геол.) ‘горная депрессия – разница между давлением воздуха внутри рудника и на поверхности’; 5) (геогр.) ‘участок суши, лежащий ниже уровня океана’ [13, т. 3, ст. 707]. В МАС и СО-1 эта лексема фиксируется в двух значениях. См., например, в СО-1: *депрессия* – 1) (спец.) ‘угнетённое, подавленное психическое состояние’; 2) ‘упадок, застой в хозяйственной жизни капиталистической страны’ [10, с. 164].

Новейшие лексикографические источники также содержат два ЛСВ существительного *депрессия*. См. в НБТС: *депрессия* – 1) ‘угнетённое подавленное психическое состояние, сопровождаемое физическим и духовным бессилием’. Впасть в депрессию; 2) ‘упадок, застой в хозяйственной или культурной жизни страны’. Экономическая депрессия [9, с. 251].

Сопоставительный анализ материалов словарей разных исторических периодов прежде всего позволяет выявить два наиболее актуальных на современном этапе значения лексемы *депрессия*. Первое относится к медицинской сфере и отражает психическое состояние человека, второе связано с экономической, хозяйственной жизнью общества. Актуализация данного значения (ЛСВ-2) сопровождается его деидеологизацией, т. е. освобождением от идеологических смысловых приращений [7, с. 36]. Существительное *депрессия* в значении ‘упадок, застой в хозяйственной жизни’ утратило идеологический компонент ‘в капиталистической стране’ (см. ЛСВ-1 в БАС), т. е. деидеологизировалось.

Кроме того, у этого ЛСВ наблюдается расширение значения, т. е. «перенос наименования с понятия меньшего объёма, но большего содержания на понятие большего объёма, но меньшего содержания» [18, с. 25]. Данные современных толковых словарей (см. НБТС), а также речевая практика (см. процитированный выше публицистический текст) свидетельствуют о том, что при сохранении ядерных сем ‘застой’, ‘упадок’ и видовых сем ‘в экономике’, ‘в хозяйственной жизни’ у рассматриваемого ЛСВ существительного *депрессия* появились новые семантические признаки ‘в культурной жизни’, ‘в социальной сфере’.

Таким образом, расширение значения языкового знака, которому предшествовала его деидеологизация, развитие синтагматических связей свидетельствуют о том, что он подвержен процессу детерминализации.

О детерминализации одного из ЛСВ существительного *депрессия* свидетельствует и

активное употребление в современных СМИ однокоренного прилагательного *депрессивный* в значении, соотносимом с детерминированным ЛСВ лексемы *депрессия*. Например: Рост цен возможен в городах с *депрессивным* рынком жилищного строительства, но высоким потенциальным спросом на квартиры (Эксперт. 2011. № 2).

Наряду с детерминологизацией в современном русском языке наблюдается и противоположный процесс – терминологизация, т. е. формирование у общеупотребительного слова терминологического значения [3; 5; 8; 14; 15; 17 и др.]. Так, на рубеже XX–XXI вв. активно пополняется корпус терминологических единиц за счёт перехода общеупотребительных слов в состав специальной лексики, связанной со сферой информатики, например: *вывод, сеть, меню, загрузка, загрузить, глобальный* и др.

Общеупотребительные слова, как указывает Ю.В. Сложеникина, распределяются по различным терминологическим полям в результате: а) строгой определённости значения, создания научной дефиниции; б) метафоры; в) метонимии; г) синекдохи; д) сужения или, реже, расширения значения [14, с. 122].

Наше исследование показывает, что одним из активных процессов, приводящих к терминологизации общеупотребительных слов, является метафоризация. В частности, нами установлено, что лексемы *коридор, аукцион, паутина, буря, взрыв, материнский* и др. терминологизируются посредством метафоризации в составе терминологических словосочетаний: *валютный коридор* (фин.), *валютный аукцион* (фин.), *всемирная паутина* (информ.), *материнская плата* (информ.), *магнитная буря* (спец.), *социальный взрыв* (публ.).

Рассмотрим терминологизацию, обусловленную метафорическим переосмыслением, на примере существительного *коридор* в составе устойчивого словосочетания *валютный коридор*, относящегося к финансовой сфере. См.: *валютный коридор* – (фин.) ‘уста-

новленные центральным банком страны верхний и нижний пределы колебания курса национальной денежной единицы по отношению к иностранной валюте; применяется в целях директивного регулирования неустойчивой финансовой системы в условиях перехода к рыночной экономике’ [16, с. 171]. Данное словосочетание активно функционирует в современной прессе. Например: Банк России не намерен менять границы *валютного коридора*, структуру международных резервов и свою валютную политику... (Рос. газета. 2011. 10 авг.).

Терминологизация лексемы *коридор* произошла в результате метафоризации ее основного значения ‘проход (обычно узкий, длинный), соединяющий отдельные части квартиры, здания’ [11, с. 296]. Следовательно, вступая в синтагматические связи с прилагательным *валютный*, существительное *коридор* утрачивает свое основное значение и становится составной частью терминологического словосочетания *валютный коридор*.

Рассмотренные нами метафорические процессы – метафоризация, детерминологизация, терминологизация языковых знаков – позволяют констатировать, что книжные и нейтральные лексические единицы, активно употребляясь в современной прессе, подвергаются различным семантическим и стилистическим преобразованиям. Книжная лексика выполняет в публицистическом дискурсе важные функции. Во-первых, она дает семантическую информацию о явлениях внешнего мира. А во-вторых, метафорическое переосмысление книжных слов делает язык публицистического текста ярким, образным, выразительным, а следовательно, способным эффективно воздействовать на массового читателя.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Арутюнова Н.Д. Метафора // Русский язык. Энциклопедия / гл. ред. Н.Ю. Караулов. – М.: Большая Рос. энциклопедия; Дрофа, 1997. – С. 233.
2. Васильева Н.В. Термин // Русский язык. Энциклопедия... – С. 556.

3. Грановская Л.М. Развитие лексики русского литературного языка в 70-е годы XIX – начала XX века (1917 г.) // Лексика русского литературного языка XIX – начала XX века / отв. ред. Ф.П. Филин. – М.: Наука, 1981. – С. 183–359.
4. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке: учеб. пособие. – М.: Логос, 2001. – 304 с.
5. Даниленко В.П. Русская терминология: опыт лингвистического описания. – М.: Наука, 1977. – 246 с.
6. Денисов П.Н. Лексика русского языка и принципы её описания. – М.: Рус. яз., 1993. – 248 с.
7. Ермакова О.П. Семантические процессы // Современный русский язык: активные процессы на рубеже XX–XXI веков / отв. ред. Л.П. Крысин. – М.: Языки славянск. культуры, 2008. – 712 с.
8. Кузнецова Э.В. Лексикология русского языка: учеб. пособие. – М.: Высш. шк., 1989. – С. 114–116.
9. Новейший большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С.А. Кузнецов. – СПб.: Норинт; М.: РИПОЛ классик, 2008. – 1536 с. (НБТС)
10. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 1989. – 924 с. (СО-1)
11. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: А ТЕМП, 2010. – 944 с. (СО-2)
12. Словарь русского языка: в 4 т. / под ред. А.П. Евгеньевой. – М.: Рус. яз., 1981–1984. (МАС)
13. Словарь современного русского литературного языка: в 17 т. – М.–Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1950–1965. (БАС)
14. Сложеникина Ю.В. Терминологическая лексика в общезыковой системе: спецкурс по рус. яз. для высш. пед. учеб. заведений. – Самара: СГПУ, 2003. – 159 с.
15. Сложеникина Ю.В. Термин: семантическое, формальное, функциональное варьирование: монография. – М.; Самара: СГПУ, 2005. – 288 с.
16. Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика / под ред. Г.Н. Складчиковой. – М.: Эксмо, 2007. – 1136 с. (Толк. сл. нач. XXI в.)
17. Ходакова Е.П. Изменение лексики русского литературного языка в пушкинское время // Лексика русского литературного языка XIX – начала XX века... – С. 7–182.
18. Черникова Н.В. Аспекты изучения семантических неологизмов: учеб. пособие. – Мичуринск, 2001. – 80 с.

ЛИТЕРАТУРА

УДК 821.112.2 – 1 «18»

Козин А.А.

Московский государственный областной университет

НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ БАЛЛАДА XVIII ВЕКА В СВЕТЕ РОМАНТИЧЕСКОЙ РЕЦЕПЦИИ

A. Kozin

Moscow State Regional University

THE GERMAN LITERARY BALLAD OF 18TH CENTURY IN THE LIGHT OF THE ROMANTIC RECEPTION

Аннотация. В статье «Немецкая литературная баллада XVIII века в свете романтической рецепции» рассматривается результат жанровых модификаций баллады, связанных с особенностью эстетических ориентиров, свойственных немецким романтикам. Внимание автора статьи фокусируется на сюжетах, мотивах, образной системе баллад германских поэтов XIX века, обеспечивающих преемственную связь с балладами немецких просветителей, в частности, Г.А. Бюргера и И.В. Гёте.

Ключевые слова: аллюзия, баллада, мотив, реминисценция, стих, строфа, фрагмент.

Abstract. The article deals with the result of the genre modifications of ballad, connected with the special features of the aesthetical guidelines typical of German romantics. The attention of the author is focuses on plots, motives, descriptive system of the ballads of the German poets of 19th century, which provide continuity of the ballads of German enlighteners, G.A.Bürger and J.W.Goethe in particular.

Keywords: allusion, ballad, motive, reminiscence, verse, stanza, fragment.

Эстетика немецкого романтизма, много что заимствовавшая у штюмеров (идея абсолютной свободы творчества гения, проблема противостояния художника и толпы, смелое введение при воссоздании типической обстановки элемента чудесного и пр.), определила и ряд инноваций, которые не замедлили сказаться на жанровой характеристике баллады. Среди этих впоследствии «додуманных» и эстетически усовершенствованных романтиками «заимствований» особым образом выделяется их интерес к фрагменту как к художественному феномену. («Фрагмент отвечал потребности в новых свободных формах лирической выразительности» [4, с. 1152]). Новалис в своё время отмечал, что несовершенное в виде фрагмента терпимо. В скором времени фрагмент был разработан романтиками как особая жанровая форма («Критические (ликейские) фрагменты», «Атенийские фрагменты» Ф. Шлегеля (1797), «Цветочная пыльца» Новалиса (1798), «Английские отрывки» Гейне и пр.), а впоследствии –

как композиционный приём. Фрагментарность – один из основополагающих жанровых атрибутов баллады. Не удивительно, что баллада нашла для себя в эстетике романтизма благодатную почву. Баллада, сохраняя известную специфичность, расширяет жанровые рамки [3, с. 87].

Фрагмент и, соответственно, фрагментарность были свойственны балладе ещё на заре её бытования как литературного жанра. Поначалу это были опыты с композицией, когда автор по своему усмотрению мог «жертвовать» тем или иным элементом традиционной структуры, не выражая его текстуально. Он как бы сам собой являлся в контексте стихотворения, подразумевался (И.В. Гёте «Перед судом», «Цыганская песнь»). Фрагментарность выражалась и в виде сюжетной дискретности (И. Лёвен «Юнкер Ганс из Швабии», Г.А. Бюргер «Ленора», «Дикий охотник» и др.). Эти опыты были связаны с поиском «неклассицистических» средств, позволяющих на малом художественном пространстве охватить максимально широкое идейно-тематическое поле с целью поднять проблемы как микро-, так и макрокосмического масштаба. Но, благодаря усердным стараниям Бюргера, Гёте, Шиллера и др., пройдя сравнительно недолгий путь своего формирования, немецкая баллада XVIII века более обнаруживала тенденцию к преодолению фрагментарности, нежели к её культивации. Об этом красноречиво говорят баллады Гёте и Шиллера 1797 года. При сохранении сюжетной дискретности эти стихотворения характеризуют обстоятельность изложения истории, плавность хода повествования. Это влияло и на объём стихотворения – он значительно увеличивался. В романтическую эпоху тяготение к фрагментарности в балладе усиливается. Это могло выражаться в фабульной организации, в структуре и в области идейного содержания.

Композиционно немецкая баллада конца XVIII века была полноценной текстуально выраженной структурой. Эпического свойства зачин подготавливал последовательное

изложение истории, заканчивающейся эмоционально напряжённым финалом, не лишённым известной доли назидательности. Баллада эпохи романтизма зачастую может не содержать в себе не только текстуально выраженные завязку и развязку, но даже развитие действия(!), что наглядно демонстрируют стихотворения Л. Уланада «Счастье во сне» и А. де Шамиссо «Замок Бонкур». «Усечённая» композиция присуща балладам К. Брентано («Верная любовь потерялась»), Й. Эйхендорфа («Лорелей»), Г. Гейне («Женщина», «Тангейзер») и др.

В то же время наблюдается откровенная эксплуатация романтиками баллады «бури и натиска». Сюжеты Бюргера, Гёте осмысляются в духе романтической эстетики. В данном случае понятие «фрагмент» обретает довольно широкий спектр толкований. В применении к балладе это может быть часть композиции, элемент сюжета, фрагмент ситуативного свойства. Фрагмент может толковаться в смысле аллюзии или реминисценции, ибо они отправляют читателя не к целому тексту, а к определённой значимой его части. И в этом случае понятие «фрагмент» определяет не только особую организацию произведения, где в качестве «строительного материала» берётся отрывок какой-либо известной баллады, в прямом смысле «кусок» (лат. *fragmentum* – кусок, обломок), но также и часть идейного содержания. И в том и в другом случае автор прибегает к реминисценции или аллюзии. Эта тенденция особенно заметно проявилась в некоторых балладах Й. Цедлица, Й. Эйхендорфа, Г. Гейне.

Баллада Й.-К. Цедлица «Вильгельм Телль» (40-е гг. XIX века) копирует внутреннюю организацию «Лесного царя» Гёте (1782). И Гёте, и Цедлиц, создавая свои произведения, были заняты поглощавшей их идеей: первый – мыслью о том, что природа – великая, необъятная, но при определённых условиях и при помощи известных средств (созерцание, интуиция, анализ и пр.) всё-таки постижимая тайна; второй видел Германию, находящуюся в преддверии великих социально-полити-

ческих преобразований. Идея Гёте гораздо шире: он старался приблизиться к постижению бытия, мироздания. Цедлица волновала судьба отдельно взятого государства в отдельно взятый временной промежуток. Границы интересующего авторов предмета определили как внешнюю оформленность, так и идейную направленность их произведений.

На первый взгляд, баллады очень похожи. И у Гёте, и у Цедлица основой произведения является диалог двух героев – сына и отца. Первый задаёт вопросы. Второй убеждает, вразумляет первого. Сходство настолько велико, что даже некоторые реплики имеют одинаковое оформление (*siehst, Vater; sprich, Vater; mein Vater; mein Sohn; mein Kind* и т. д.).

Но, несмотря на довольно близкое внешнее сходство, стихотворения имеют довольно существенные отличия в области содержания. Баллада Гёте имеет чёткое эпическое обрамление: 1-я и 8-я строфы, являющиеся, соответственно, завязкой и развязкой стихотворения; остальные 6 строф передают диалог мальчика, его отца и Лесного царя. Таким образом, в пьесе Гёте представлены все роды поэзии.

Цедлицевский «Вильгельм Телль» представляет собой лишь диалог Вильгельма Телля и его сына. Баллада начинается вопросом мальчика к отцу, а заканчивается репликой отца, смысл которой сводится к тому, что надо противостоять тиранам. То есть завязка и развязка выражены драматическим способом. Эпическое начало выступает не в синтезе с лирическим и драматическим, а как бы растворено в них, оно выражено контекстуально. Подобный подход к синтезу трёх родовых начал ни в коей мере не разрушает балладную специфику. В данном жанре любой вид поэзии может по желанию автора быть выдвинутым на передний план, или выполнять второстепенную функцию, или вовсе игнорироваться. Разумеется, это будет влиять на общий тон пьесы: в зависимости от преобладающего в произведении литературного рода он будет тяготеть или к

эпике, или к лирике, или к драме. В нашем случае обе баллады по сути своей драматичны, ибо и в «Лесном царе», и в «Вильгельме Телле» приоритетную позицию занимает диалог. Основная проблема здесь кроется в том, насколько большую широту идейного пространства обеспечивает произведению наличие упомянутого эпического элемента, гарантирующего наличие композиционной законченности, закруглённости баллады Гёте и, соответственно, «открытости» баллады Цедлица. Если соотнести композиции «Лесного царя» и «Вильгельма Телля», то последняя явится «куском», фрагментом баллады Гёте. Теряет что-либо Цедлиц? Ни в коем случае. Композиционная открытость «Вильгельма Телля» обеспечивает стихотворению традиционную обобщённость, изначально присущую балладе как жанру. Обретает ли что баллада, автор которой «пожертвовал» текстуально выраженными завязкой и развязкой? Тоже нет. Историческая конкретика служит той же идейной отвлечённости, что опять-таки отвечает специфике жанра.

Баллада Гейне «Похищение» являет собой фрагмент «Леноры» Бюргера. В стихотворении Гейне всего три строфы (у Бюргера – 32). Гейне передаёт лишь три реплики, в которых рыцарь зовёт с собой в могилу свою возлюбленную, а та просит оставить её: («А я хочу ещё насладиться сиянием солнца и щебетом птицы» – пер. Б. Лейтина). Но рыцарь отвечает ей:

«Забудь про солнце, про птиц забудь,
Моя дорогая!
Ты в шарф завернись – будет белой фатою,
Струн арфы коснись несмелой рукою
И песнь венчальную запой.
Её подхватит вихрь ночной»
(Пер. Б. Лейтина [1, с. 23]).

Было бы неосторожным утверждать, что Гейне взял для своего стихотворения именно балладу Бюргера. Ведь источников бюргеровской «Леноры» предостаточно – народная немецкая баллада «Ленора», вагантовская

песня «Свидание с мёртвым женихом и т. д.». Но данные источники стали известны широкой публике благодаря именно стихотворению Бюргера, после тщательного исследования «Леноры», поэтому, как это ни парадоксально, источником «Похищения» следует считать вторичное, литературное произведение. На бюргеровское стихотворение ориентирует и общий пессимистический тон баллады – в фольклорных «Ленорах» девушка спасается. «Похищение» же Гейне звучит как реквием. Мало того: в балладе Гейне присутствует ряд существенных деталей, например, рыцарь просит девушку забыть про солнце и птиц, завернуться в шарф и запеть венчальную песнь. В фольклорных песнях такие подробности отсутствуют, зато все они представлены у Бюргера (16 строфа: «Оставь шуметь боярышник, оставь шуметь, дитя, оставь! <...> Выходи, завяжи передник, прыгай и садись на коня позади меня...»; 21 строфа: «... Чу! Погребальная песнь!» (Пер. наш. – А. К.). Обстоятельная бюргеровская история, сведённая Гейне к трём репликам, превращается в масштабную, развёрнутую метафору символического уровня. И эта метафора может стать иллюстрацией к любой стороне человеческого бытия.

«Леноровский» мотив похищения звучит и в балладе Гейне «Трагедия». Парень «умыкает» девушку, но не в могилу, а «с собой», чтобы в его любви она обрела «и родину, и отчий дом». В финале баллады оба они умирают – их «извела злая мачеха-жизнь», бедность. Гейне исключает мистический мотив. Интересна композиция баллады. Гейне в качестве развития действия приводит, по его словам, «подлинную народную песню», которую он слышал на берегах Рейна. В этой песне говорится о том, как парень, полюбив девушку, увёл её без ведома родителей из родного дома:

Их горькая доля по свету гнала,
Их злая мачеха-жизнь извела,
Нужда иссушила, сгубила
(Пер. В. Левика [1, с. 205]).

Гейне расширяет границы художественного времени. Две заключительные строфы баллады повествуют о будущем, в котором не исключено повторение известной читателю истории. Над могилой влюблённых сидит сын мельника «со своей милой». Они внемлют свистящему ветру, и плачут, и не понимают, почему плачут. Гейне концентрирует внимание читателя не столько на трагической истории, сколько на повторяемости подобных историй, говорит о безысходности простого человека в жизни, в которой даже любовь спасти не может. Такого рода обобщённость позволяет говорить о типическом, что определяет балладу Гейне как пример реализма.

В балладе «Заклинание» явно слышатся отголоски «Коринфской невесты» Гёте. Но здесь Гейне, скорее, позволяет себе улыбнуться над предромантической мистикой гётевской баллады. Учёный монах (явная ассоциация с Фаустом) велит духам принести ему в келью труп «прекраснейшей девы» (возможно, намёк на Елену Спартанскую). Он оживляет труп, но вместо того, чтобы, как в «Коринфской невесте», провести ночь любви, у Гейне «долго сидели они вдвоём, сидели и молчали» (пер. В. Левика). Сохранив мистическую стихию «Коринфской невесты», Гейне переводит ситуацию в реальный план. Что могут делать старый монах с оживлённой покойницей? – Сидеть да молчать. Финал буквально «взрывает» балладу Гейне множеством значений, пониманий и подвигает читателя к ряду толкований.

В балладе «Русалки» Гейне сохраняет ситуативную часть гётевского «Рыбака», связанную с очарованием, соблазнением русалкой героя. Только у Гейне их не одна, как у Гёте, а шесть, и очаровывают они рыцаря (Гейне отказался от образа рыбака, хотя гейневского рыцаря вполне можно аллегорически назвать и так) не только пленительными словами и пением, но также поцелуями. Герой Гейне рад русалкам:

И позволяет красавицам он
Себя целовать бесконечно
(Пер. В. Левица [1, с. 212]).

В отличие от глубоко философских коллизий, заявленных Гёте, баллада не содержит астрального смысла. Это произведение скорее относится к шуточным.

Мотивы гётевских «Фиалки» и «Дикой розочки» звучат у Гейне в «Белом цветке». Правда, здесь Гейне в качестве основы баллады избирает не фрагмент, а центральную аллегорическую мотив срывания цветка. Данный мотив Гёте иллюстрирует в двух ипостасях: безответной любви («Фиалка») и более сложной коллизии взаимоотношений влюблённых, когда юноша требует близости, а девушка, понимая уровень жертвенности при лишении невинности, поначалу «выставляет шипы», а затем «помогает сорвать себя», после чего «страдают оба» («Дикая розочка»). Гейне мотив срывания цветка решает в иной плоскости: влечение лирического героя и «белого цветка» не совпадает. Юноша пленён алым цветком. Но тот для него недоступен. И тогда герой срывает влюблённый в него белый цветок. Финал стихотворения оптимистический, обретая друг друга, герои счастливы:

И разом светлеет душа моя,
Рассеялось колдовство...
(Пер. Л. Руст [1, с. 138]).

Пересмотрен мотив «Дикого охотника» Бюргера в балладе Й. Эйхендорфа «Заблудившийся охотник». Эйхендорф отказывается от просветительской антидеспотической тенденциозности. Его «дикий охотник» – не фольклорная легенда, а скрытая метафора любовного влечения, когда, поддавшись томительному чувству, герой теряет друзей

и на пути «к неведомой красе» оказывается один на один со своим чувством:

Он обречён на зов идти,
Блуждая наугад.
Вовек дорогу не найти
Охотнику назад
(Пер. В. Вебера [5, с. 326]).

Результат наблюдений: романтики, взяв для разработки какой-либо фрагмент имеющейся баллады, наделяют его новым значением, а подчас и новым содержанием. Но любопытная вещь: случайно ли они обращались к уже известным балладам? Вопрос не терпит однозначного ответа, ибо слишком обширна его область. Но одно можно с уверенностью сказать: аллюзии, реминисценции так или иначе обращали читателя к исходному тексту, а значит, и к исходному значению предшествующей баллады. Таким образом, романтики (а за ними и представители позднейшей литературы) расширяли границы значения своих произведений. Просветительно-штюрмерская баллада со своими философскими обобщениями как бы проглядывает сквозь романтическую балладу и требует от читателя известного рода ассоциаций.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Гейне Г. Избранные произведения. – М.: Худ. лит., 1950. – 1010 с.
2. Гёте И. В. Собрание сочинений в 10-ти тт. Т. 1. – М.: Худ. лит., 1975. – 528 с.
3. Козин А. А. Баллада И.В. Гёте в контексте немецкой литературной баллады конца XVIII – начала XIX века.: дисс. канд. филол. наук. – М., 1996. – 207 с.
4. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина. – М.: НПК Интелвак, 2003. – 1600 с.
5. Эолова арфа. Антология баллады / Сост., предисл., коммент. А. А. Гугнина. – М.: Высш. шк., 1989. – 671 с.

УДК 82

Симонова Л.А.

Московский государственный областной университет

**ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО
В РОМАНЕ СЕНАНКУРА «ОБЕРМАН»**

L. Simonova

Moscow State Regional University

ARTISTIC SPACE IN SENANCOUR'S NOVEL "OBERMANN"

Аннотация. В статье рассматривается вопрос, как образ пространства раскрывает характер и мировоззрение главного героя. Оберман в его неудовлетворённости наличным бытием переходит от состояния покоя к движению и обратно. Первому соответствует образ дома, за которым в сознании героя закрепляется представление об идеальном месте письма, второму – странствие, при этом перемещение в пространстве соотносится в художественном мире Сенанкура с движением мысли Обермана, его духовным поиском. Драма Обермана, во всём разуверившегося и нигде не достигающего тишины, прочитывается как «пространственная драма», драма отношения с пространством. Особое внимание уделяется образу пустоты, маркирующему идейно-смысловую доминанту романа и во многом определяющему его повествовательную структуру.

Ключевые слова: герой, мотив, пространство, странствие, дом, пустота.

Abstract. The article observes how the image of space reveals the nature and outlook of the protagonist. Obermann in his dissatisfaction with the present goes from rest to motion - and vice versa. The first state corresponds to the image of the house, behind which the idea of the perfect place for writing is fixed in the character's mind, the second one is related to the journey: moving in space in Senancour's artistic world is related with the movement of Obermann's thought, his spiritual search. Obermann's drama, who had lost his faith in everything and had never reached the silence, is read as «spatial drama,» a drama dealing with the space. Particular attention is paid to the image of the emptiness, that marks the ideological dominant of the novel and largely determines its narrative structure.

Keywords: character, motive, space, journey, home, emptiness.

«Оберман» (1804) Сенанкура и «Рене» (1802) Шатобриана можно считать первыми во французской романтической литературе романами, в которых категория пространства играет столь важную роль в сюжетно-композиционном и идейно-образном плане. Пространство у Сенанкура служит для раскрытия образа главного героя и определяет структуру всего повествования. На эту особенность указывает в своей работе Б. Дидье, называя драму Обермана «пространственной драмой» [1, с. 30]. К тому же в пространственных мотивах можно увидеть отражение жанрового своеобразия «Обермана» – романа, вырастающего из авторского дневника. Сам жанр дневника нередко определяется литературоведами с помощью пространственного образа. Например, А. Монтандон говорит о ведении дневника как о движении в пространстве: «Дневник выступает сначала как пространство, чтобы собирать «я» в его разных движениях и выражениях» [4, с. 12]. М. Жило утверждает, что «всякий личный дневник есть дневник путешествия в жизни» [3, с. 2].

Композиционно-организующая роль пространства в «Обермане» настолько очевидна, что Б. Дидье в книге «Сенанкур-романист. Оберман, Альдоман, Изабелла» выделяет в нём жанровые черты романа-путешествия, при этом путешествие наделяется значением инициации, становится способом посвящения в скрытую истину [2, с. 164-165]. Литературовед напрямую связывает поиск Оберманом места с поиском самого себя, определением героем своего «я»: «Поиск идеального места есть на самом деле поиск идентичности. И весь маршрут Обермана не имеет другого значения, иной цели, чем найти себя самого...» [2, с. 51]. Герой Сенанкура утверждает, что «проходил бы всю свою жизнь» [5, с. 74]. Движение в романе становится движением бесконечным, что соответствует безостановочным блужданиям мысли героя, всегда ищущей и ни на чём не останавливающейся. Движение у Сенанкура является и метафорой метафизического освобождения, обретения духовной свободы: «Иногда неожиданным движением я устремляюсь за пределы узкой сферы, в которую я чувствую себя заключённым» [5, с. 211].

Странствие и влечёт, и утомляет Обермана. Бесконечность пространства и притягивает его, и пугает: человек не защищён от непредвиденных событий, которыми не может управлять. В открытом пространстве дороги Оберман ещё острее переживает свою затерянность: «теперь земля настолько большая и наука настолько сложная, что целой жизни не хватило бы ни на множество вещей, которые нужно было бы изучить, ни на протяжённость мест, которые нужно было бы обойти» [5, с. 329]. Возникает представление о ничтожности человека по сравнению с бесконечностью пространства. Оберман боится потеряться в пространстве, которое часто воспринимается им как чужое, то, где невозможно найти «своё», обжитое место. Герой настойчиво ищет такое место, пространство, в которое мог бы вписать своё существование, с которым мог бы сродниться, в котором мог бы укорениться. Для него важно именно

отношение с пространством. Пространство видится им то как узко замкнутое (как правило, это дом), то как открытое, с широкой перспективой. Поиск дома для Обермана есть стремление избежать произвола случайностей, замкнувшись в размеренной домашней жизни, подчинившись «скромной привычке, установленной манере» [5, с. 308]. Оберман находит удовольствие в том, что обставляет жильё. Это соответствует желанию защититься от открывающегося ему хаоса вселенной видимой устойчивостью бытовых вещей, неподвижной тяжеловесностью материи. При этом не стоит забывать, что уединённое жилище представляет собой идеальное пространство для письма, требующего сосредоточенности пишущего на самом себе. Автор дневника укрывается от мира, чтобы погрузиться в самого себя, когда сознанию открываются самые потаённые глубины внутреннего «я».

Так как для Обермана важно именно защищённое пространство, размышлять о своей возможной жизни в какой-либо местности он начинает с дома. При этом дом – это и рукотворное сооружение, создающее атмосферу уюта и покоя, соответствующее вкусам и привычкам хозяина, и обязательно – ландшафт, природный уголок, где сочетаются неподвижность и движение, дикость и цивилизация. Оберману важен эмоциональный контакт с местом, устанавливаемый, главным образом, с помощью визуального и звукового восприятия. При этом образы представляются в их изменчивости, для героя большое значение имеет динамика света – изменение освещения места в течение дня, с чем связывается изменение внутренних состояний. Оберман не может существовать в тишине. Для него обязательно напоминание о ходе времени, вечном движении, происходящем в природе, что воплощается в звуке воды. Наконец, для Обермана важна перспектива, размыкающая его интимное пространство и ведущая в широкий мир людей. Герою необходимо близкое расположение города как возможность, не жертвуя своей свободой и

привычками одинокой жизни, не потерять связи с человеческой культурой, не прервать общения с людьми. Оберман в его неудовлетворённости наличный бытием стремится то к одиночеству, то к контакту с внешним миром. Он примеряет на себя разные образы жизни: то в городе, то в деревне.

Оберман часто противоречит сам себе: с одной стороны, он стремится к осёдлой жизни, хочет привязаться к определённому месту, отдаться привычному ходу будней, с другой – не может без перемены мест, не может не пускаться в странствия, не желать видеть и обладать тем, что ещё не видел и чем ещё не обладает. Это вечное ожидание *иного*, запретельного, того, что не может состояться. Это болезнь ненасытного сознания, не смиряющегося с теснотой и скупостью близких вещей. Оберман часто говорит о размеренной, тихой жизни в кругу семьи и друзей, жизни, подчинённой привычке и богатой маленькими радостями. Он хотел бы приблизиться к этому покою, но для него это недостижимо, к тому же герой сам отказывается от этого пути, так как он есть подчинение необходимости, ограничение своей непомерности, отрицание множественности возможностей. «Я не хочу больше таких простых вещей... я хочу большего» [5, с. 244]. Это вечное стремление к большему, неосуществимому, незавоёванному, это постоянное превозмогание самого себя, преодоление ограниченности человеческого удела, помогающие верить во всеисилие самостановящегося «я», вечно незавершённого в своей устремлённости к высшему. «Там, где покой царит всегда, он был бы слишком лёгким...» [5, с. 244]. То, что дано, даже если это является желанной целью, неудовлетворительно: всякая данность, для достижения которой не сделано усилие, чревато пленением, путами инертности и угрозой распада, подрывом доверия к личностной воле. То, что уже есть, означает остановку, пустоту, а значит, небытие. Оберман одержим манией движения, хотя это движение и призрачно, никуда не ведёт, так как нигде он не находит того, что ищет. Однако

герой Сенанкура обманывает себя надеждами: «Я начал задумываться, устремлять глаза в будущее, думать о другом возрасте: у меня тоже могла бы быть одержимость жить!» [5, с. 244] Оберман как романтический герой не может существовать без чувства избыточности жизни, когда пределы никем и ничем не поставлены, когда всё имеет своё потенциальное продолжение. Можно ли верить искренности и постоянству Обермана, когда он говорит о том, что навсегда готов признать «милые привычки естественной жизни» [5, с. 245]. И не потому ли романтические герои превозносят простую, размеренную, неприятную жизнь, что это им недоступно. Она становится для них прекрасной мечтой, идиллией, утраченным раем, блаженство которого будет всегда манить их в воображении, но отпугивать при малейшем намёке на осуществление.

В тексте всегда обнаруживается безграничность интенций героя, не соответствующих его человеческим возможностям («оно (сердце) желает всего, заключает всё», «эта бесконечность, которую требует моя мысль» [5, с. 156]). Оберман хочет «подчинить вещи своей воле», «жить согласно своей мысли», однако сам знает о неосуществимости своих желаний, тем более что они слишком неопределённые: «Я не знаю, чего хотеть; нужно же, чтобы я хотел всего, так как я не могу найти отдыха, когда сгораю от желаний...» [5, с. 181]. Мысль Обермана ищет «слишком много истин в природе вещей» [5, с. 230-231]. Герой сам говорит о непомерности поставленной перед собой задачи: познать всю тайну мира, ни на что не опираясь. Оберман – титан, склоняющийся под бременем сомнений. «Я осмеливаюсь предполагать» [5, с. 225]: герой Сенанкура как бы испытывает пределы, поставленные человеческому знанию. Оберман относит себя к тем, кто не закрывает глаза на тайны мироздания, не ограничивает свой опыт скупой материальностью. В случае с Оберманом это не просто пылкость ума, но дерзание, вопрошание, чреватое сомнениями, ошибками и даже отчаянием. Однако

он идёт по избранному пути, цели которого не знает. Оберман как романтический герой пользуется тем, что никто не знает, каковы пределы, поставленные человеческому знанию, он берёт на себя всю ответственность за взятый эксперимент, в завершении которого, однако, не уверен. При этом знание, к которому стремится Оберман, никак не связано с пользой, не предполагает узко прагматического расчёта. Это знание носит глубоко личностный характер, то, что ищет Оберман, должно определить его сознание, его отношение к окружающему. И в этом дерзании и происходит непрекращающееся становление его бытия, обретающего в этом свой смысл и свою цель.

Однако высший смысл человеческой жизни остаются скрытыми от героя. Поэтому поиск ответов на мучительные вопросы о законах, управляющих вселенной, представляется герою не только свободным поступком, но и тяжёлой ношей, чуть ли не принуждением, которым человек обязан самому своему происхождению. Человек наделён волей, а значит, ему присуще и беспокойство, связанное с необходимостью её применения, своей природой он принуждён желать: «Может быть, достоверное знание и известная цель не отвечают нашей природе и нашим нуждам. Однако нужно хотеть. Это грустная необходимость, невыносимая забота быть всегда принуждённым иметь волю, не зная, на что её направить» [5, с. 225]. Хотеть – не значит мочь, но хотеть уже предполагает «мочь», «хотеть» – это «мочь» в потенци. Однако всё опять-таки упирается в один из главных вопросов: в какой степени человек свободен в выражении своей воли и в какой степени он подчинён законам, организующим общий ход всех вещей? Если человек уверен в неограниченной ничем абсолютной свободе, в том, что несёт полную ответственность за свершаемые им действия, отрицая некие объективные силы, которые могут именоваться «судьбой», «роком» или «провидением», он как бы исключает себя из мирового целого, противопоставляя своеволие

«я» всему внеличному и погружаясь в хаос. Это путь лермонтовского демона. Если человек, напротив, признаёт себя послушной игрушкой в руках неведомых сил, он отрицает себя как личность, наделённую сознанием и свободой воли. Как примирить свободную волю и некую необходимость, закономерность, в той или иной степени определяющую явления, утверждающую внеличный характер происходящего. Этот вопрос для романтического героя Обермана остаётся неразрешимым (аналогичная картина складывается в главе «Фаталист» в «Герое нашего времени» Лермонтова). «Часто я успокаиваюсь на мысли о том, что случайный ход вещей и прямые следствия наших намерений есть не что иное, как видимость, и что каждое человеческое действие необходимо и определено непреодолимым движением связи вещей. Мне кажется, что это правда, чувство которой у меня есть, но, когда я теряю из вида общие причины, я беспокоюсь и всё оставляю. Иногда, напротив, я силюсь углубить всё это, чтобы знать, может ли моя воля иметь основу и могут ли мои взгляды соотноситься с последовательным общим планом» [5, с. 225-226]. Блуждающая мысль Обермана пытается опереться на очевидность вещей, а затем вновь погружается в сумерки, неразрешимые сомнения, вплоть до *пустоты всеотрицания*.

В романе Сенанкура довольно часто встречается слово «вещи» (*des choses*). Вещи – это то, что внеположено человеку, то, что не «я», то, что мешает быть собственно «я». «Вещи» – понятие у Сенанкура широкое: и события, и обстоятельства, и влияния, и поступки, и предметы как таковые. Чтобы оставаться самим собой, человек должен устанавливать отношения с этими вещами: «...Мы расположим вещи, не изменяя их самих (что мало значит для нас), но подчиняя впечатления, которые они производят на нас, что одно для нас важно и что наиболее легко...» [5, с. 26]. Или: «Я считаю необходимым изменить вещи прежде, чем измениться самому» [5, с. 27]. Из контекста очевидно, что Оберман собирается не изменять вещи,

но изменять отношение к ним, их видение. Вещи в романе Сенанкура – это часто неодушевленные предметы. Вещи заполняют и вместе с тем обнаруживают пространственную пустоту. Из-за того что природа у Сенанкура неодушевлена, пейзаж может представлять как скопление разрозненных вещей, расположенных в пространстве. Например, горы, окутанные туманом, казались «скоплением (*l'amas*) грозовых туч, повисших в пространстве» [5, с. 31]. Значима следующая фраза: «...Я оставляю далёкие и разнообразные заботы будущего, которые всегда утомительны и часто напрасны; я стараюсь только *располагать и себя, и вещи*» (курсив мой. – С. Л.) [5, с. 27]. Примечательно, что в этом высказывании «я» сближено с вещами, как бы приобретает характер «вещи». Здесь забота о будущем – это целеполагание жизни и вместе с этим смыслополагание, которые Оберман и отрицает как «утомительные» и «напрасные». Таким образом, раскрывается особенность мышления Обермана: в поисках героем смысла бытия просматривается желание заполнять пустоту. Отметим также слово «располагать» (*disposer*), которое относится к внешнему, а не к внутреннему: располагать, размещать что-либо в пространстве. Вещи должны заполнить пустоту. В одном из писем Оберман признаётся: «Я слишком утруждаю себя мелкими вещами... Я ничем не пренебрегаю в деталях, в этих мелочах, которые заставили бы смеяться от жалости людей разумных: если серьёзные вещи мне кажутся мелкими, мелкие вещи для меня имеют ценность» [5, с. 116]. Так, жизнь для Обермана распадается на отдельные вещи, мир представляется ему мозаичной картиной, где упразднена иерархия ценностей. К определению отношений между людьми герой Сенанкура подходит так же, как и к определению отношений между вещами: «Связи человеческой жизни разнообразны, восприятие этих связей неопределённо, беспокойно, полно холодности и неприязни...» [5, с. 138]. В одном из писем герой говорит о «тишине всех вещей» [5, с. 104]: мир не отвечает Обер-

ману, он нем. Словами героя, он «разделён с общностью вещей, нет больше связи» [5, с. 104]. Оберман только догадывается о существующей в мире гармонии, но не может ни познать, ни прочувствовать её. Оберман наблюдает мир, где нет единства, а значит, смысла, где нет связи между человеческим «я» и окружающим миром. Утрата связи с мировым целым превращается в непреодолимое одиночество, которое становится напоминанием об одиночестве в смерти («он отсутствует в живом мире» [5, с. 104]). Таким образом, пустота является категорией, определяющей художественный мир романа Сенанкура.

В конце романа часты метафоры, связанные с темнотой: тень, призраки. Жизнь превращается в преддверие смерти – «глухой пропасти» [5, с. 280], нарастает ощущение пустоты. «Мне всего не хватает», «пустота окружает меня каждый день» [5, с. 339]: Оберман оказывается в состоянии отсутствия, нехватки. Пустота действительной жизни заполняется призраками: «они проходят, вновь начинают движение, удаляются, как туча, изменяются в сотни бледных и гигантских образов» [5, с. 339]. Герой чувствует себя «посреди блуждающих теней, в непроницаемом и немом пространстве» [5, с. 339]. Можно говорить о том, что движение мысли Обермана происходит всегда по замкнутому кругу, так как в его взглядах ничего не изменяется, поэтому сам герой говорит о «тщетности порыва» [5, с. 217]. Такая ограниченность возможностей познания бытия, безрезультатность духовных поисков в конце романа получает закрепление в образе замкнутого пространства комнаты: Оберман буквально запирается в комнатах («я запираюсь, я скучаю...» [5, с. 218]), мир становится тесен для героя, он давит на него своей пустотой. Отношение с пространством настолько сложны у Обермана, что трудно определить, где же, в конечном итоге присутствует герой. Он не соответствует ни одному из мест, оказывается «вытеснен» из жизни в область письма, совпадая с автором дневника, который путешествует в слове.

На связь движения в пространстве с письмом указывает тот факт, что, принимая решение стать писателем, Оберман останавливает своё внимание на романе-путешествии. Эта форма представляется герою достаточно свободной: она сочетает и рассказ о наблюдаемых, реально происходящих событиях, не исключая сцены частной жизни, и вымысел. Путешествие даёт возможность свободного перемещения во времени и пространстве. Память наряду с воображением должна дать разнообразный материал. «Движение мира – это достаточно устойчивая драма, чтобы быть привлекательной, достаточно разнообразная, чтобы возбуждать интерес, достаточно постоянная, определённая, чтобы нравиться уму и развлекать системами, достаточно неясная, чтобы пробуждать желания и питать страсти» [5, с. 358]. Но сможет ли Оберман сосредоточить своё внимание на внешних событиях, неизменно стремясь увлечь необычным рассказом? Думается, что нет. Оберман с начала и до конца остаётся размышляющим (но не наблюдающим) героем, его взгляд почти всегда обращён в глубь него самого: он внимателен к природе, в которой ищет созвучия своему эмоциональному состоянию, но совсем невнимателен к встречаемым людям (он почти ничего не рассказывает об особенностях характера жителей тех мест, где он останавливался, кроме довольно общих черт): «...У меня нет таланта узнавать местных жителей, разговаривая несколько минут с двумя или тремя из них: природа не создала меня путешественником» [5, с. 255]. Наконец, сам герой говорит о преобладании в нём не наблюдения, но рефлексии: «Я начинаю видеть физическую красоту как умственные иллюзии: всё малопомалу утрачивает цвет... Чувство видимых соответствий – только неясное ощущение интеллектуальной гармонии» [5, с. 256]. За внешним Оберман всегда стремится прозревать скрытую суть («я плохой наблюдатель видимых вещей» [5, с. 325]).

Блуждающее сознание Обермана ни на чём не может остановиться, ни на что не может опе-

реться, так как утратило всякую непреложную истину, неопровержимую очевидность. Неотменяемая самопроизвольность бытийных явлений всегда будет страшить Обермана, так же как и неуловимость, загадочность собственного «я», исчезновение неоспоримой истинности личности: «Я не знаю, кто я, что я люблю, что я хочу; я томлюсь без причины, мои желания ни на что не обращены, и я ничего не вижу, за исключением того, что я не на своём месте» [5, с. 176]. К тому же Оберман как человек XIX века не может замкнуться в интимном пространстве. На протяжении всего романа одни и те же категории рассматриваются Оберманом то применительно к частной жизни отдельного человека, то применительно к обществу, что неминуемо приводит к ещё большему усложнению их смысла.

Слово Сенанкура буквально повисает в воздухе, одно противоречит другому, множатся взаимоотрицающие высказывания, смысловым кодам, которые получают в дальнейшем закрепление во французском романтизме, становится тесно в пространстве текста. «Оберман» представляет собой монолог смущённого, блуждающего в сумерках сознания. Герой Обермана предельно рефлексивен, он настойчиво силится определить болезнь своего века, обнаруживая её в кризисе разума, утратившего устойчивые мировоззренческие опоры. Эта драма вопрошающего сознания и находит выражение в тексте романа Сенанкура через образ пространства.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Didier B. Introduction // Senancour. Obermann. Dernier version. P.: Champion, 2003. P. 7 – 48.
2. Didier B. Senancour romancier. Oberman, Aldomen, Isabelle. P.: SEDES, 1985. 351 p.
3. Gilot M. Quelques pas vers le Journal intime // Le Journal intime et ses formes littéraires. Actes du Colloque de septembre 1975. Texte réunis par V. Del Litto. Genève – Paris: Librairie Droz, 1978. P. 1 – 18.
4. Montandon A. En guise d'introduction. De soi à soi : les métamorphoses du temps // De soi à soi : l'écriture comme autohospitalité / Études réunies par A. Montandon. P.: Presses Univairsitaires Blaise Pascal, 2004. P. 7 – 27.
5. Senancour de. Obermann. P.: Bibliothèque-Charpentier, 1892. 432 p.

Публикации аспирантов

УДК - 82.09

Артамонова К. Г.

Литературный институт им. А.М. Горького (г. Москва)

ПАРОДИЯ НА СТЕРЕОТИПНОЕ ФЭНТЕЗИ: КОНЦЕПЦИЯ «ТУРИСТИЧЕСКОГО ВИЗИТА В СКАЗОЧНУЮ СТРАНУ» В ТВОРЧЕСТВЕ ДИАНЫ УИНН ДЖОНС

K. Artamonova

Maxim Gorky Literature Institute (Moscow)

PARODY OF FANTASY CLICHÉS: THE CONCEPT OF “ADVENTURE TRIPS TO FANTASYLAND” IN DIANA WYNNE JONES’S WRITING

Аннотация. В конце XX в. книги в жанре фэнтези стали пользоваться повышенным читательским спросом, вследствие чего появилось большое число эпигонских произведений, созданных на основе нескольких образцовых романов. Отклик на этот процесс можно найти в творчестве английской писательницы Дианы Уинн Джонс, спародировавшей в некоторых своих произведениях клише жанра фэнтези. Так, по-своему интерпретируя образы и мотивы популярных поджанров фэнтези, Джонс создала ироничный роман «Темный властелин Деркхольма».

Ключевые слова: эпическое фэнтези, героическое фэнтези, клише, общие места, эпигоны, пародия, ирония

Abstract. At the end of the 20th century, there was a keen demand for fantasy fiction which led to many epigones deriving their writing from several classic fantasy novels. Some of the works by a British author Diana Wynne Jones can be regarded as a response to this process, while in her writing she caricatured many fantasy clichés. Thus, in her ironic novel *Dark Lord of Derkholm* she gave a brand new interpretation of the common tropes of popular fantasy subgenres.

Keywords: high fantasy, sword and sorcery, cliché, common tropes, epigones, parody, irony.

Фэнтези как жанр возник недавно, в прошлом столетии. По определению В.Л. Гопмана, фэнтези – «вид фантастической литературы (или литературы о необычайном), основанной на сюжетном допущении иррационального характера. Это допущение не имеет «логической» мотивации в тексте, предполагая существование фактов и явлений, не поддающихся, в отличие от научной фантастики, рациональному объяснению» [3]. Таким образом, фэнтези фактически приравнивается к литературной сказке, от которой данный жанр до сих пор недостаточно четко отграничен. Так, некоторые отечественные исследователи игнорируют термин «фэнтези» и относят классику этого жанра к литературной сказке (Н.Н. Мамаева

в статье «Светлее алмазов горят в небе звёзды» называет литературными сказками произведения родоначальников фэнтези Дж. Р. Р. Толкина и К.С. Льюиса [4]). Зарубежные литературоведы признают, что «жанр фэнтези – это необычайно сложный для определения термин» (перевод наш. – К. А.) и предлагают отличать его по единственному характерному признаку: действие фэнтези происходит во *вторичном*, вымышленном автором *мире*, отличным от нашей реальности [6, с. 396]. Тем не менее, большинство писателей и критиков [М. Муркок, У. Ле Гуин, Л.С. де Камп, Р. Желязны и др.] сходятся во мнении, что жанр фэнтези существует, и относят момент его зарождения к 20-30-м гг. XX в.

К 60-м гг. XX в. в жанре фэнтези выделились два первых *поджанра*, завоевавших наибольшую популярность у читателей и ставших доминантными направлениями жанра: *эпическая* и *героическая фэнтези* [М. Муркок, Ф. Лейбер, Л.С. де Камп, Дж. Клют, Дж. Грант и др.]. Эти поджанры, с которыми у широкого круга читателей по сей день ассоциируется термин «фэнтези» (несмотря на то многообразие направлений, которое теперь представлено в этом жанре¹), имеют между собой много общего. В первую очередь, их отличает специфический хронотоп: действие происходит в вымышленном мире, напоминая своими бытовыми реалиями отдалённую эпоху в истории человечества. В силу того что эпическая и героическая фэнтези почерпнули свои образы и сюжетные ходы из произведений средневековой литературы: рыцарского романа, баллады, героического эпоса, – основным хронотопом для них стало европейское средневековье². Также необходимыми элементами как эпической, так и героической фэнтези являются магия и сражения. Героическая фэнтези имеет второе название, которое отражает значимость этих

двух признаков, – фэнтези «меча и магии». Её отличает авантюрный сюжет с множеством перипетий и коллизий. Главные герои этого поджанра – отважные воины, за приключениями которых в мире, полном волшебства, читатель может следить на протяжении целой серии разрозненных рассказов и новелл. Фэнтези «меча и магии» близка к рыцарскому роману и допускает выстраивание слабо связанных друг с другом фабул вокруг одних и тех же персонажей. Классический пример фэнтези такого типа – произведения Р.И. Говарда о воителе Конане из Кимерии³, которые породили множество продолжений и подражаний, созданных другими авторами⁴.

Эпическую фэнтези отличает мотив, объединяющий все произведения этого поджанра: мотив угрозы существованию вторичного мира со стороны сил зла. Сюжет эпической фэнтези выстраивается вокруг основной *миссии* его героев: найти способ уничтожить врага, наделённого сверхъестественными силами, и избавить свой мир от его власти. Зарубежная литературная критика предлагает обозначать такого рода миссию термином “quest” [6] («квест»), который в последние годы используется и в русском языке, особенно среди поклонников компьютерных игр. “Quest” можно перевести как «поиски приключений», а также как «искание» или «дознание»: как правило, для того, чтобы одолеть антагониста, героям нужно выведать, в чём заключается его сила. На пути к своей цели они так же, как герои фэнтези «меча и магии», переживают опасные приключения, но кульминация и развязка произведений этого поджанра характеризуются гораздо более сильным героическим пафосом, и в происходящие события оказывается вовлечённым весь волшебный мир, а не только отдельная его часть (в отличие от

1 Например, «научная фэнтези» (“science fantasy”), «тёмная фэнтези» (“dark fantasy”), «технофэнтези» (“technofantasy”) и др. [6]

2 См., например: «Властелин колец» Дж.Р.Р. Толкина, «Хроники Нарнии» К.С. Льюиса, романы и повести У. Ле Гуин.

3 См. рассказы и повести из цикла о Хайборийской Эре, например: «Алая Цитадель», «Башня Слона», «Королева чёрного побережья» и др.

4 Произведения о Конане в разное время создавали Лайон Спрэг де Камп, Лин Картер, Эндру Оффут, Карл Эдвард Вагнер, Роберт Джордан, Пол Андерсон, Стив Перри и др.

фэнтези «меча и магии», герои которой разрешают лишь локальные конфликты). Самым известным и, по мнению многих критиков, образцовым произведением в поджанре эпической фэнтези является трилогия Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец».

Успех пионеров эпической и героической фэнтези породил плеяду как довольно интересных и самобытных подражателей¹, так и *эпигонов*. Во второй половине XX в. на основе разработанных в первых фэнтези мотивов и образов были созданы не только бессчётные романы, повести и рассказы², но и кино-, теле- и мультфильмы, ролевые и компьютерные игры³, а также произведения изобразительного искусства и даже тексты песен целого ряда рок- и металл-групп⁴. Популяризация этих поджанров привела к снижению качества создаваемых в них произведений. Образы и мотивы, кочующие из одного романа, фильма или телесериала в другой, полностью утратили свою оригинальность и превратились в *клише*, стереотипные сюжеты уже более не предполагали неожиданных поворотов и развязок, ходячие персонажи лишились живых психологических характеристик. По мнению авторов-составителей “The Encyclopedia of Fantasy”, многочисленные произведения в этих поджанрах превратились в «анти-фэнтези», потому как их стали создавать люди, лишённые фантазии или творческого воображения [6, с. 396].

Своеобразная реакция на этот процесс представлена в творчестве английской писательницы Дианы Уинн Джонс (1934-2011 гг.). В 1996 году она опубликовала книгу “The Tough Guide To Fantasyland”⁵. В названии

этого «путеводителя по Сказочной стране» содержится аллюзия на серию путеводителей по разным странам мира “Rough Guides”, выпускаемых британским издательством *Penguin Group*.

Книга представляет собой *развернутую метафору*: чтение как путешествие в «страну» авторского воображения. Джонс предлагает воспринимать это «путешествие» буквально – как туристическую поездку. Соответственно, читатели будут именоваться «туристами», а авторы – «менеджментом». “The Tough Guide To Fantasyland” построен по принципу словаря: в нём перечисляются все основные образы и мотивы поджанров эпического и героического фэнтези в алфавитном порядке. В начале книги Джонс приводит краткое руководство для туристов «Как пользоваться этой книгой» и даёт от лица «менеджмента» некоторые пояснения. Первым делом турист должен найти карту – она прилагается к любому «турпакету» – и изучить её. Карта воображаемой страны давно стала *общим местом* для поджанра эпической фэнтези. В частности, карты литературной вселенной Толкина, Средиземья, приводились в прижизненных изданиях «Властелина колец». Появление карты в романе Толкина было оправдано авторским замыслом: в предисловии писатель утверждает, что создал «Властелина колец» на основе «Алой книги», летописи Средиземья, и приведённые им карты принадлежат Бильбо Беггину, одному из героев романа [5]. Однако последователи Толкина скопировали эту находку писателя формально, и стилизованная под средневековую карта под обложкой эпической фэнтези стала одним из необходимых элементов этого поджанра⁶.

Ознакомившись с картой, «турист» Джонс должен прибыть в пункт, в котором начнётся его путешествие, встретиться с попутчика-

1 Л.С. де Камп, Л. Картер, К. Вагнер, Т. Уильямс, Р. Джордан, Дж. Р.Р. Мартин и др.

2 См., например: серия «Наследники Толкина» издательства «Азбука», Т. Брукс, К. Паолини, Н. Перумов, Н. Некрасова, Н. Васильева и др.

3 См., например: фильмы «Подземелье драконов», игры “Dungeons&Dragons”, “Forgotten Realms”, манга «Берсек» и др.

4 См., например: Led Zeppelin, Blind Guardian, Rhapsody, Kamelot, Avantasia и др.

5 «Краткий путеводитель по Сказочной стране». На русский язык книга не переведена.

6 См., например: Сапковский А. Без карты ни шагу. Советы для авторов, пишущих фэнтези. [Электронный ресурс] // Электронная библиотека [www.modernlib.ru]. URL: http://www.modernlib.ru/books/sapkovskiy_andzhey/bez_karti_ni_shagu/read_1/ (дата обращения: 29.11.2011).

ми, закупить на местном рынке всё необходимое (неудобную «средневековую» одежду, меч, лошадь) и отправиться в тур под руководством «гида» (местного мага), в случае необходимости консультируясь с «путеводителем». В конце предисловия – стандартная для турагентства фраза: «Желаем приятного путешествия. Спасибо, что выбрали наш Менеджмент».

Далее следуют словарные статьи, каждый новый блок которых предваряется «гномическим изречением» (“Gnomic Utterance”), начинающимся с соответствующей буквы. В словосочетании «гномические изречения» обыгрываются два варианта возможной этимологии слова «гномический» – от «гнома» или «гном» (гномы – одна из «рас» волшебных существ, которые неизменно фигурируют практически в любой эпической фэнтези). А сами «изречения» пародируют присущую авторам фэнтези манеру вводить в реплики своих героев пафосные (и зачастую бессмысленные) высказывания вымышленных «мудрецов» древности. Например, на букву G Джонс приводит такую «цитату»: «Грозят сады великими опасностями. Королю Дорасу II было видение в саду, и, узрев семерых будущих владык, он споткнулся о вазон» (перевод наш. – К. А.) [7, с. 31].

В словарных статьях Джонс в *сатирическом* ключе описывает все самые распространённые штампы эпической и героической фэнтези (эпической в большей мере). По мнению Джонс, авторы фэнтези слишком категорично разделяют своих персонажей на «добрых» и «злых»: «Добрые – все и вся, кто находится на вашей стороне... Большинство остальных существ ваши враги – а значит, они злые. Если вы сталкиваетесь с кем-то/чем-то, кто не является ни тем, ни другим – например, с лошадью или нейтральным богом, – можете смело его игнорировать» (перевод наш. – К. А.) [7, с. 34]. Перипетии сюжетов строятся по определённым канонам: если герои присоединяются во время пути к торговому каравану, на него обязательно нападут разбойники, если герой попадёт в раб-

ство, его с 50%-ной вероятностью заставят участвовать в гладиаторских боях и т. д. Различать «добрых» и «злых» персонажей можно не только по их функциям в повествовании, но и по «цветовой кодировке»: чёрный – признак злобности, рыжие волосы – признак магических способностей, карие глаза – признак храбрости и чувства юмора [7, с. 17]. Помимо этого Джонс обращает внимание и на присущие фэнтези языковые штампы, которые она обозначает ОМТ – “official management term” («официальный термин менеджмента»). По наблюдениям писательницы, одним из самых популярных ОМТ является выражение “reek of wrongness” – герои «чуют опасность» каждый раз, когда им предстоит очередная перипетия. Джонс иронизирует, что, вероятно, в Сказочной стране у опасности действительно есть какой-то специфический запах [7, с. 64].

Высмеивая в “The Tough Guide To Fantasyland” клише эпической и героической фэнтези, Джонс чуть позднее продолжила тему «туризма в Сказочной стране» в своём собственном фэнтези-романе «Тёмный властелин Деркхольма» (“The Dark Lord of Derkholm”, 1998 г.). Название романа вызывает у читателя, знакомого с эпической фэнтези, ассоциации с целым рядом произведений, написанных в этом жанре. Но уже на первых страницах книги Джонс обманывает ожидания читателя, настроенного на привычную организацию сюжета. В её Сказочной стране нет Тёмного властелина, кровожадных чудищ и злых колдунов – напротив, разные народы у неё живут в мире, добрые волшебники занимаются животноводством и сельским хозяйством, а в деревни проведено электричество. Но всем дружелюбным существам, населяющим Сказочную страну, приходится каждый год принимать у себя туристов, которых посылает через магический портал предприниматель мистер Чесни, и разыгрывать для гостей традиционный сюжет эпической фэнтези. Волшебникам приходится по очереди исполнять роль Тёмного властелина: превращать свой дом в мрачную Цитадель и

театрально «погибать», когда очередная партия туристов доберётся до его «логова». Часть волшебников берёт на себя функции «гидов» (мистер Чесни требует, чтобы у них непременно были длинные бороды и магические посохи), колдуньи предстают перед «туристами» в образах чародей-соблазнительниц, драконы прячут заранее распределённые сокровища... Пережив вместе с гидами тщательно спланированные «приключения», туристы так же через портал отправляются домой. Таким образом, развернутая метафора из **“The Tough Guide To Fantasyland”** превращается в «Тёмном властелине Деркхольма» в метафору *реализованную*.

В своём романе Джонс сохраняет ядро сюжета эпической фэнтези: её герои стремятся спасти свой мир, но не от стереотипного Тёмного властелина, а от мистера Чесни. Каждый год мистер Чесни (в его образе можно усмотреть сатиру на эпигона, пишущего фэнтези) составляет новый план туров, по которому жителям Сказочной страны приходится то снести целую деревню, то вытоптать плодородную долину, то вывести на поле боя и позволить убить ни в чём не повинных людей. Его туры разрушительны, и обитатели Сказочной страны пытаются придумать способ от него избавиться. В конце романа им удаётся это сделать – то есть Джонс по традиции завершает своё произведение победой добра над злом. Но сам роман имеет мало общего с шаблонной эпической фэнтези.

Джонс использует те же «готовые формы», к которым прибегали многочисленные авторы фэнтези, но значительно их преобразует, что позволяет сделать вывод о присутствии в её произведении элемента *пародии*. Главным её приёмом становится *ирония*, позволяющая осуществить намеренное *снижение пафоса*, присущего эпической фэнтези. Она вводит в канву фэнтезийного повествования аллюзии на злободневные современные темы социального характера. Так, жители сказочной страны не поднимаются на мистера Чесни с оружием в руках, а устраивают митинги и забастовки под лозунгом «Туры долой!». Вол-

шебницы, которых заставляют наряжаться соблазнительницами, жалуются на «дискриминацию по половому признаку», а маги-гиды сетуют на «хроническое переутомление в результате сверхурочных работ». Роль Тёмного властелина исполняют незадачливый волшебник Дерк и его находчивые дети, которые вместо «кожистых летунов», запланированных мистером Чесни, насылают на лагерь туристов агрессивных гусей. Среди главных действующих лиц оказываются летающие свинки, ворчливый старый дракон и юные грифоны, не лишённые подростковых комплексов.

Объектом пародирования становятся и *стилистические особенности* жанра фэнтези. Одним из общих мест эпической фэнтези стало наделение авторами своих героев своеобразной речевой характеристикой: в их речь вводятся архаизмы, устаревшие обороты и выражения со стилистически возвышенной окраской. Причём зачастую, по замечанию писательницы У. Ле Гуин, использование подобных слов и фраз неуместно и создаёт комический эффект [8]. Джонс намеренно добивается этого эффекта. Все её персонажи говорят на современном разговорном языке, но в определённые моменты им приходится пользоваться пафосными формулами: «Мы знаем твоё слабое место! – неуверенно проблеял Странник. – Твоё время истекло, Тёмный Властелин!» [2, с. 415], – что лишь подчеркивает нелепость обстоятельств, в которые они поставлены.

Джонс не допускает того однозначного разделения героев на «злых» и «добрых», которое предполагает стереотипная фэнтези. Писательница наделяет своих персонажей реалистичными психологическими характеристиками и правдоподобно мотивирует их поступки, а также намеренно обманывает читательские ожидания относительно своих героев. Демон, которого по ошибке вызывает Дерк, жесток и коварен, но для его озлобленности есть объективная причина: мистер Чесни захватил его супругу, и демон не знает, как её спасти. По всем внешним признакам

«добрый» волшебник оказывается алкоголиком и главным приспешником бизнесмена. А несимпатичные герои из числа туристов, в том числе родственники мистера Чесни, в конце романа помогают наказать злодеев.

В произведении присутствуют все основные признаки эпической фэнтези. Действие романа происходит во вторичном мире, у героев есть миссия по его спасению, и они могут победить антагониста, лишь узнав секрет его силы (мистер Чесни управляет сказочной страной при помощи демона). Основным действующим лицам приходится пройти через перипетии героической фэнтези: пленение, гладиаторские бои, спасение девушки, попавшей в руки к разбойникам. Среди персонажей романа встречаются представители вымышленных народов и сказочные существа, которые неизменно фигурируют в большинстве произведений эпической и героической фэнтези: эльфы, гномы, драконы, грифоны. Однако писательница по-новому обыгрывает знакомые читателю сюжетные ходы, даёт своим типичным для фэнтези персонажам неожиданные характеристики и преподносит клише жанра в ироническом ключе.

Таким образом, по-своему интерпретируя канон эпической и героической фэнтези, Джонс создаёт остроумную *пародию* на эпи-

гонские творения, написанные в этих поджанрах, и вместе с тем предлагает читателю оригинальный роман с неожиданными поворотами сюжета, яркими образами и обаятельным юмором.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Алексеев С.Т., Володихин Д.М. Фэнтези [Электронный ресурс] // Энциклопедия Кругосвет [www.krugosvet.ru]. URL: www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/FENTEZI.html (дата обращения: 28.11.2011).
2. Джонс Д.В. Темный властелин Деркхольма. – М., СПб., 2005. – 640 с.
3. Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. А.Н. Николюкина. – М., 2001. – С. 1161-1164.
4. Мамаева Н.Н. Светлее алмазов горят в небе звёзды (Английская литературная сказка как явление) // Известия Уральского государственного университета. – 2000. – № 15. – С. 96-106.
5. Толкин Дж. Р.Р. Властелин колец. Трилогия. Кн. 1. Хранители кольца. – М., 2002. – С. 5-6.
6. Clute J., Grant J. The Encyclopedia of Fantasy. London, 1997. 1076 p.
7. Jones, Diana W. The Tough Guide to Fantasyland [Электронный ресурс] // Библиотека электронных книг [allbooks.org.ua]. URL: www.allbooks.org.ua/uploads/files/222019.pdf (дата обращения: 19.10.2011).
8. Le Guin, U. From Elfland to Poughkeepsie. // Sandner, D. Fantastic Literature: A Critical Reader. Westport, 2004. P. 144-155.

УДК 32:93/94

Квак Хэ Ми

Московский педагогический государственный университет

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО СКАЗКИ «МОЙДОДЫР»

Kwak Hae Mi

Moscow State Pedagogical University

ART SPACE IN THE TALE «MOYDODYR»

Аннотация. В статье рассматриваются пространственно-временные образы сказки К.И. Чуковского «Мойдодыр», обладающие своеобразными «географическими» свойствами. Автор исследует символику топонимического круга, по которому движется главный герой сказки, в сопоставлении с «маршрутом» Раскольникова, в романе Достоевского «Преступление и наказание». Возвращение героев по ранее пройденному пути к определённом географическому месту в повествовании является маршрутом «преображения» «от грязнули к чистюле» у Чуковского, и движением от греха к покаянию в романе Достоевского. С другой стороны, модель «отправка – бегство – возвращение» тесно связана с «обрядом посвящения» в русской народной сказке, описанной В.Я. Проппом. С этой точки зрения в статье рассматривается и образ Крокодила, выполняющего в мировой мифологии, и особенно египетской, важнейшую роль при осуществлении обряда инициации.

Таким образом, в условно-реалистичном пространстве сказки, герой проходит путь своего преобразования, с одной стороны, в соответствии с канонами фольклорной сказки, описанными В.Я. Проппом, с другой – египетской мифологией, где одной из функций Крокодила является функция перерождения героя.

Ключевые слова: художественное пространство, путь бегства и возвращения, функция перерождения, Петроград.

Abstract. The article deals with spatio-temporal images which have unique «geographical» characteristics in the tale «Moidodyr» by K. Chukovsky. The author makes analysis of symbolics of the toponymic circle in which the protagonist moves on in the tale, in comparison with Raskolnikov's «route» in the novel «Crime and Punishment» by F. Dostoevsky. The recurrence of the characters through previously trailed path to a specific geographic location is the route of «transformation» from «gryaznulya (dirty boy) to chistyulya (neatnik)» in the poem by Chukovsky, and the path from sin to repentance in Dostoevsky's novel. On the other hand, the model of the «departure - escape - the recurrence» is associated with «rite of initiation» in the Russian folk tales described by V. Propp. From this perspective, the article also considers another character – Crocodile that in the world mythology, especially Egyptian, performs an important role in the rite of initiation.

Thus, in quasi-realistic space in the tale the main character goes along the way of transformation, according to the canons of folk tales, described by V. Propp, on the one hand, and on the other – in accordance to the Egyptian mythology, in which one of the functions of the Crocodile is the function of the hero's regeneration.

Keywords: art space, escape and recurrence route, function of regeneration, Petersburg.

Образы пространства и времени являются важнейшим элементом поэтики сказок К.И. Чуковского. Одна из самых известных сказок «Мойдодыр», написанная в 1923 году, включает в себе целый ряд пространственных образов, обладающих своеобразными «географическими» свойствами, как реальными, так и воображаемыми. Они получают коннотатив-

ные значения, оказываются «синтетическим сверхтекстом, с которым связываются высшие смыслы и цели» [10, с. 275]. Действие «Мойдодыра» происходит в реальном пространстве города, т. е. в квартире, на улице, конкретной площади, что создаёт иллюзию правдоподобия происходящих в сказке событий. Более того, город этот – Петербург, о чём мы можем узнать из грозного монолога Мойдодыра в самом начале повествования:

Если топну я ногою,
Позову моих солдат,
В эту комнату толпою
Умывальники влетят,
И залают, и завоюют,
И ногами застучат,
И тебе головомою,
Неумытому, дадут -
Прямо в **Мойку**,
Прямо в **Мойку**
С головою окупут! [11, с. 33]

Слово «Мойка» в «Мойдодыре» написано два раза и с прописной буквы. Это географическое название – река в **Санкт-Петербурге – протока невской дельты**, из чего мы можем сделать единственно возможный вывод о месте действия. Последующая цепь описываемых событий будет включать в себя всё новые и новые топонимы.

В отличие от фольклорных сказок с зачином «жил да был», сказка «Мойдодыр» начинается с неожиданного бегства всей домашней утвари. Герой-мальчик, встав утром, с удивлением наблюдает, как от него сбегает все домашние вещи.

Одеяло
Убежало,
Улетела простыня,
И подушка,
Как лягушка,
Ускакала от меня.

Я за свечку,
Свечка – в печку!

Я за книжку,
Та – бежать
И вприпрыжку
Под кровать! [11, с. 30]

Любопытно, что Б.М. Гаспаров обнаружил неожиданную связь «Мойдодыра» с ранним произведением В. Маяковского «Владимир Маяковский. Трагедия»: «В одной из сцен там изображается бунт вещей: в полном соответствии с центральной идеей кубофутуризма и ОПОЯЗа, вещи стремятся вырваться из-под гнёта повседневности. Они «скидывают лохмотья изношенных имен» и покидают привычные места, на которых они привычно служили человеку:

Винные витрины, как по пальцу сатаны,
сами плеснули в днища фляжек.
У обмершего портного сбежали штаны
и пошли – одни! – без человечьих ляжек!
Пьяный – разинув чёрную пасть –
вывалился из спальни комод.
Корсеты слезали, боясь упасть,
из вывесок «Robes et modes».
Каждая калоша недоступна и строга.
Чулки-коготки игриво щурятся <...>
[5, с. 163]

Образ сбежавших штанов немедленно обращает на себя внимание сходством со сбежавшими брюками из «Мойдодыра». Но и помимо этого, обнаруживается целый ряд деталей, связывающих эту сцену с поэтикой детских стихов Чуковского». [1, с. 305]

Динамика произведений Чуковского также близка поэзии футуристов. В сказках писателя создаётся особое вихревое движение, особое пространство, в котором нет места статике.

Отчего же
Всё кругом
Завертелось,
Закружилось
И помчалось колесом?
<...>

Всё вертится,
И кружится,
И несётся кувырком. [11, с. 31~32]

В написанной много лет спустя статье с характерным заглавием «Признание старого сказочника» Чуковский отдаёт дань той притягательности, которую имеют приёмы вихревого движения для детского языкового мира: «Внимательно взглядевшись в эти книги, я подметил, что не только в загадках, но и в большинстве моих сказок - непрерывные вихри движений и действий. В «Мойдодыре» уже на первых страницах... Вообще я почти никогда не изображаю предметы в их статике. Тот мир, который я демонстрирую перед малым ребёнком, почти никогда не пребывает в покое. Чаще всего и люди, и звери, и вещи, сломя голову бегут из страницы в страницу к приключениям, битвам и подвигам» [12, с. 455]. И далее Чуковский отмечает: «Эти быстрые темпы вполне соответствуют умственным потребностям малых детей. Ведь ребёнка в начале его бытия меньше всего интересуют характерные приметы вещей» [12, с. 456]. Таким образом, авторский замысел вполне соответствует мировосприятию маленьких детей.

Действие сказки не ограничивается пространством комнаты, «выплескиваясь» на улицы Петербурга. Интересно, что бегущий от мочалки герой, передвигается по вполне определённому географическому маршруту:

А от бешеной мочалки
Я помчался, как от палки,
А она за мной, за мной
По Садовой, по Сенной.

Я к Таврическому саду,
Перепрыгнул чрез ограду,
А она за мною мчится
И кусает, как волчица. [11, с. 34]

Мы можем точно определить даже притяжённость маршрута бегства грязнулей: «По Садовой, по Сенной» и дальше «к Тавриче-

скому саду». Вероятнее всего «квартира», в которой жил грязнуля, находится там же, где жил и сам Чуковский, то есть в Манежном переулке [4, с. 47]. От Манежного переулка по Садовой улице и через Сенную площадь до Таврического сада приблизительно 7 км, – достаточно большое расстояние. Но маршрут, проделываемый грязнулей, не случаен. Более того, место действия сказки вызывает ассоциативную связь с другим произведением русской литературы – романом «Преступление и наказание» (1866) Ф.М. Достоевского, где Сенная площадь и Садовая улица являются не только местом, где Раскольников принимает решение об убийстве старухи-процентщицы, но и местом искупления грехов. Проходя по Сенной и Садовой через толпу, герой «Преступления и наказания» услышал разговор, из которого узнал, что «завтра, ровно в семь вечера», старуха-ростовщица «останется дома одна» [2, с. 63]. И туда же, на Сенную площадь, по совету Сони Раскольников идёт просить у народа прощения. Возвращение героев Достоевского и Чуковского по ранее пройденному пути к определённому географическому месту в повествовании – важнейший шаг в действиях героев. Это преодоление очередного порога. Можно предположить, что в сказке описан не только «географический» маршрут, но и маршрут «преображения» «от грязнули к чистюле», который перекликается с движением от греха к покаянию в романе Достоевского.

Говоря о пути «от грязнули к чистюле», логично обратиться к модели «отправка – бегство – возвращение», которая связана с «обрядом посвящения» [8, с. 37], в русской народной сказке. Согласно теории В.Я. Проппа, чаще всего сказка начинается с какой-нибудь беды, которая приводит к «отправке героя из дома». Факт отправки героя в путь важен как мотив начала испытания. «Пространственное перемещение героя» [8, с. 32] влечет за собой самые разные приключения, посредством которых герой проходит обряд посвящения. Путь, символизирующий этот обряд, начинается после встречи или пребывания

у персонажа определённого типа, чаще всего Яги (переломный момент, начало обряда), и в итоге герой возвращается домой преображённым. В.Я. Пропп отмечает, что *«обряд этот совершался при наступлении половой зрелости. Этим обрядом юноша вводился в родовое объединение, становился полноправным членом его и приобретал право вступления в брак. Такова социальная функция этого обряда. <...> Другая форма временной смерти выражалась в том, что мальчика символически сжигали, варили, жарили, изрубали на куски и вновь воскрешали. Воскресший получал новое имя, на кожу наносились клейма и другие знаки пройденного обряда. Его обучали приёмам охоты, ему сообщались тайны религиозного характера, исторические сведения, правила и требования быта и т. д.»* [8, с. 39]. Схему инициации в волшебных сказках и героических мифах обнаружили как В.Я. Пропп, так и Е.М. Мелетинский. Отмечая смысл «переходных» обрядов в мифах, исследователь мифа Е.М. Мелетинский пишет: *«Инициация и переход из одного состояния в другое подаются, таким образом, как ликвидация старого состояния и новое начало, смерть и новое рождение, которое неточно было бы считать «воскресением»* [6, с. 226]. Как правило, переходные обряды включают в себя символическое изъятие индивида из социальной структуры на некоторое время, те или иные испытания, ритуальное очищение и возвращение в «социум». Таким образом, как отмечает Е.М. Мелетинский, «Странствие» становится жизненным странствием или, по меньшей мере, важнейшим жизненным испытанием... Забегая вперед, заметим, что это в ещё большей степени свойственно волшебным сказкам, которые в отличие от мифов заведомо нацелены на судьбу индивида» [6, с. 227].

Анализируя сюжетные коллизии «Мойдодыра», мы можем составить, пользуясь определением В.Я. Проппа [9], морфологию, т. е. описание произведения по составным частям, сказки «Мойдодыр»:

Ребёнок нарушает правила личной гигиены – не умывается.

- 1). Преследователь-Мойдодыр ругает грязнулю.
- 2). Преследователь-Мойдодыр и его подручные пытаются помыть ребёнка (отправка).
- 3). Образ преследователя воплощается не только в Мойдодыре, но и в различных предметах домашней утвари.
- 4). Образ преследователя воплощается в положительном персонаже, который становится на пути героя (Крокодил).
- 5). Герой спасается от преследования.
- 6). Герой приобретает новый облик или преображается, т. е. он умывается.

Момент кульминации в сказке «Мойдодыр», с которого фаза бегства переходит в фазу возвращения, связан с образом крокодила или, если быть точнее, крокодила «глотателя». Уместно вспомнить аналогичный образ и в другой сказке Чуковского.

В «Бармалее» проглатывание Крокодилом злого разбойника связано с мотивом перерождения. По словам Е.М. Неёлова, Крокодил является «персонификацией глотания, точнее, перерождения» [7, с. 63]. В.Я. Пропп подчёркивал, что проглатывание и извержение человека чудовищным животным входило в систему инициации: *«...посвящаемый пролезал через сооружение, имевшее форму чудовищного животного. <...> Посвящаемый как бы переваривался и извергался новым человеком»* [8, с. 191]. Так, в конце сказки «Бармалей», Крокодил проглатывает злодея, который после этого преображается и становится добрым:

Пожалели дети Бармалея,
Крокодилу дети говорят:
«Если он и вправду сделался добрее,
Отпусти его, пожалуйста, назад!
Мы возьмём с собою Бармалея,
Увезём в далёкий Ленинград!»
Крокодил головою кивает,
Широкую пасть разевает, –
И оттуда, улыбаясь, вылетает Бармалей,
А лицо у Бармалея и добрее и милей» [11, с. 58-59] (курсив мой. – автор)

По словам В.Я. Проппа, «*пребывание в жёлудке зверя давало вернувшемуся магические способности, в частности, власть над зверем. Вернувшийся становился великим охотником. Этим вскрывается производственная основа и обряда и мифа. Мыслительная основа их доисторична. Она основана на том, что еда даёт единосущие со съедаемым*» [8, с. 193]. Иначе говоря, крокодиле брюхо не только защищает хороших людей, но и перевоспитывает плохих. Проглоченные же Крокодилом плохие люди принимаются во «внутренний круг», благодаря чему и становятся хорошими. Образ Крокодила проглатывающего и извергающего, амбивалентен, так как одновременно заключает в себе функции уничтожения и возрождения. Х.Э. Керлот объясняет, что «*в образе крокодила, в большей или меньшей степени уподобляемого дракону, отныне также обнаруживается примирение противоречивых качеств: с одной стороны, он символизирует ярость, зло и смерть, а с другой – мудрость, знание и жизнь*» [3, с. 274].

И если Крокодил в сказке «Бармалей» преобразует проглоченного злодея, то в сказке «Мойдодыр» он, проглотив преследующую героя мочалку, сам становится действующим лицом, выполняющим функцию противодействия герою. Отметим при этом, что сначала Крокодил воспринимается грязнулей как дружественный персонаж.

Хотелось бы обратить внимание, что главный герой преобразуется не в результате «отповеди» Мойдодыра, а под влиянием своего друга – «хорошего и любимого Крокодила». Крокодил фактически берёт на себя те же функции, которые в начале сказки были присущи Мойдодыру.

Таким образом, в условно-реалистичном пространстве сказки герой проходит путь своего преобразования, с одной стороны, в соответствии с канонами фольклорной сказки, описанными В.Я. Проппом, с другой – египетской мифологии, где одной из функций Крокодила является функция перерождения героя.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Гаспаров Б.М. Мой до дыр. Новый мир, 1992, – С. 304–319.
2. Достоевский Ф.М. Соб. сочи. в 12 т.: 5 Т. – М., 1982. , – С. 182.
3. Керлот Х.Э. Словарь символов. – М., 1994. , – С. 602.
4. Кудряцева Т.А. Книга для тех, кто не любит читать. – СПб., 2006. – С. 240.
5. Маяковский В.В. Полн. собр. соч. Т. 1 в 13 т. 3-е изд. – М., 1955, , – С. 217.
6. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа/ Е.М. Мелетинский: Ин-т мировой литературы РАН. – М., 2006. – С.407.
7. Неёлов. Е.М. Переступая возрастные границы // Проблемы детской литературы. Петрозаводск. 1976. – С.53–70.
8. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. – М., 1998. – С. 336.
9. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. Исторические корни волшебной сказки. – М., 1998. – С. 512.
10. Топоров В.Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы» // Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического: Избранное. – М., 1995. – С. 259.
11. Чуковский К.И. Собр. соч.: В 15 т. – Т.1. – М., 2001. – С. 600.
12. Чуковский К.И.. Признание старого сказочника/ От двух до пяти. – СПб., 2000. – С. 433–462.

УДК 82.091

Сытина Ю.Н.

Московский государственный областной университет

**РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ В.Ф. ОДОЕВСКОГО 1830-Х
ГОДОВ И ИХ ОСМЫСЛЕНИЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ ***

J. Sytina

Moscow State Regional University

**RELIGIOUS AND PHILOSOPHICAL VIEWS OF V. ODOYEVSKY
IN THE 1830S AND THE UNDERSTANDING OF THEM
IN THE NATIONAL LITERARY CRITICISM**

Аннотация. В.Ф. Одоевского традиционно относят к представителям философского романтизма, поскольку именно мысли и идеи лежат в основе его художественных образов. Одоевский обладал сложным, синтетическим, порою двойственным мировоззрением, что как нельзя лучше подчёркивается многообразием интерпретаций его философии в отечественном литературоведении. Наличие несхожих, даже противоречивых толкований системы воззрений писателя делает интересным объектом исследования не только философские и религиозные взгляды Одоевского как таковые, но и их осмысление в различные исторические эпохи.

Ключевые слова: история науки, литературоведение, интерпретация, философия, религия.

Abstract. V. Odoevsky is traditionally considered as a representative of philosophical romanticism, because it is thoughts and ideas that are the basis of his artistic images. Odoevsky had a complex, synthetic, sometimes ambivalent ideology that is excellently emphasized by a variety of interpretations of his philosophy in the national literary criticism. The presence of different, even contradictory interpretations of views of the writer makes an interesting object of study of not only the philosophical and religious views of Odoevsky as such, but also of their understanding in different historical epochs.

Keywords: history of science, literary criticism, interpretation, philosophy, religion.

Князь Владимир Федорович Одоевский – один из виднейших русских мыслителей и деятелей культуры первой половины XIX века. Сфера его интересов поражает своей широтой – он был писателем, философом, литературным и музыкальным критиком, издателем, музыкантом, теоретиком-педагогом, просветителем, химиком, электротехником, транспортником и даже кулинаром. Однако, «при всей пестроте» занятий, Одоевский «всегда оставался мыслителем, всегда стремился к строгой систематичности в своих построениях» [6, с. 141], поэтому исследователи любой области его деятельности неизменно обращаются к изучению философии Одоевского.

Как писателя Одоевского традиционно относят к представителям философского романтизма, поскольку именно мысли и идеи лежат в основе его художественных образов. Одоевский обладал сложным, синтетическим, порою двойственным мировоззрением, что как нельзя лучше подчёркивается многообразием интерпретаций его философии в отечествен-

© Сытина Ю.Н., 2012.

* Статья подготовлена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. ГК № 14.740.11.0562 от 05.10.10.

ном литературоведении. Наличие несхожих, даже противоречивых толкований системы воззрений писателя делает интересным объектом исследования не только философские и религиозные взгляды Одоевского как таковые, но и их осмысление в различные исторические эпохи.

Одоевский пережил сложную философскую эволюцию. Наибольшее внимание литературоведы уделяют его мировоззрению 1830-х годов, поскольку именно в этот период были созданы практически все художественные произведения Одоевского, начиная с «Последнего квартета Бетховена», опубликованного в 1831 году, и до выхода в 1844 собрания сочинений, в котором впервые увидели свет «Русские ночи» – первый русский философский роман и своеобразный итог писательского пути Одоевского. «Русские ночи» вобрали в себя немало повестей, ранее изданных в 1830-е годы, что позволяет говорить о целостности мировоззрения Одоевского этого периода.

Романтический пафос, философские идеи и необычная форма «Русских ночей» вызвали недоумение критики середины 1840-х годов – эпохи реализма и «натуральной школы». Характерные для того времени интерес к злобе дня, прежде всего, в социальном её преломлении, и стремление к трезвой практической деятельности были прямо противоположны туманной мечтательности и кажущейся абстрактности книги Одоевского, его духовной, а не социальной печали, тоске по чистой красоте, по вещам «бесполезным».

Так, В.Г. Белинский, высоко оценивая «дидактизм», «гумор» [1, т. 1, с. 275] и сатирическую направленность «светских» повестей Одоевского, резко отрицательно писал о «каком-то странном фантазме» [1, т. 8, с. 314] и крайнем идеализме некоторых его произведений. Похожих взглядов относительно мировоззрения и творчества Одоевского придерживались такие известные литературные критики, как В.Н. Майков, А.М. Скабичевский и другие представители западничества.

Уже в XIX веке личность и творчество Одоевского вызывали интерес самых разных деятелей русской культуры: А.Ф. Кони, А.П. Пятковского, Д.Д. Языкова, Н.Ф. Сумцова, Б.А. Лезина, И.И. Замотина, П.Н. Соловского и других. Но настоящее признание пришло к писателю только в XX веке. Тогда же появились и научные исследовательские работы, посвященные его художественному наследию.

В дореволюционной России начала XX века к произведениям Одоевского обращались такие литераторы и философы, как Ю.И. Айхенвальд, В.В. Гиппиус, В.В. Розанов, Н.А. Котляревский, И.А. Кубасов.

Этапной в изучении творчества Одоевского стала вышедшая в 1913 году фундаментальная монография П.Н. Сакулина «Из истории русского идеализма. Кн. В.Ф. Одоевский. Мыслитель-писатель». По справедливому замечанию В.В. Зеньковского, после выхода этой работы «можно считать установленным, что Одоевскому должно отвести очень значительное место в развитии русской философии» [6, с. 140].

Н.П. Сакулин подробно останавливался на развитии «миросозерцания» Одоевского, причем не просто глубоко анализируя философские и религиозные искания писателя, но и вписывая их в широкий как русский, так и западноевропейский мировоззренческий контекст 1820-1830-х годов. Детально рассматривая истоки убеждений Одоевского, исследователь обращался не только к Шеллингу, но и к европейским мистикам (С. Мартену, Ф.К. Баадеру, Гёрресу) и к учениям святых отцов Православной церкви («Добротолюбие» в переводе преп. Паисия Величковского).

Н.П. Сакулин справедливо отмечал и аргументированно доказывал, что главным в сложной философской системе Одоевского была вера: «Знание, хотение и действие, <...> наука, поэзия, религия <...> вот параллельные ряды родственных явлений, которые, как радиусы в центре, сходятся в стихии веры» [11, т. 2, с. 394]. Говоря о глубокой

религиозности Одоевского, литературовед, вместе с тем, подчёркивал внецерковность духовных исканий писателя, отмечая, что в первой половине XIX века «Русская православная церковь, сдавленная бюрократическим режимом, не обнаруживала признаков жизни» [11, т. 1, с. 342]. И хотя Одоевский отдавал предпочтение православию, а не западноевропейским вероисповеданиям, «корни его мистики», по мнению Н.П. Сакулина, «всё же находятся главным образом на Западе» [11, т. 1, с. 394].

Подобная интерпретация мировоззрения Одоевского – упор на внецерковные и мистические составляющие его убеждений, – вероятно, продиктована не только сложным, синтетическим характером философии писателя, но и эпохой, в которую была создана монография Н.П. Сакулина, – эпохой Серебряного века, с его обострённым интересом к мистицизму и символизму, глубокими окколорелигиозными исканиями.

Вместе с тем, хотя некоторые положения Н.П. Сакулина относительно западноевропейского мистицизма Одоевского и отдалённости писателя от православной церкви представляются спорными, данное исследование до сих пор не потеряло своей актуальности и является едва ли не самым обширным трудом, посвящённым философии и творчеству Одоевского.

В советской России до конца 1960-х годов художественное наследие Одоевского изучалось мало, появлялись лишь единичные статьи О.В. Цехновицера, Е.Ю. Хин и других учёных. Исследования этого периода носили подчёркнуто идеологический характер, что неминуемо приводило к искажённому анализу как общественно-политических, так и философских взглядов писателя. Так, Е.Ю. Хин настаивала на «противоречивости идейного облика» Одоевского, отмечая «политическую ограниченность», «предрассудки и заблуждения его времени и его класса» [16, с. 13].

Начиная с 1970-х годов, в отечественном литературоведении всё больше нарастает

интерес к личности и произведениям В.Ф. Одоевского. Изучению его философии посвящают диссертации М.И. Медовой и М.С. Штерн. Ю.В. Манн в работах о романтизме также обращается к творчеству Одоевского и, как и другие исследователи того времени, говорит о теснейшей связи мировоззрения Одоевского с немецкой философией романтизма, рационализмом и Просвещением [9, с. 427].

Одним из первых крупных исследователей творчества Одоевского в советское время был Е.А. Маймин. Главный акцент он делал на влиянии Шеллинга и немецкого романтизма в целом на мировоззрение Одоевского, однако же, подчёркивал и «резкое своеобразие литературного дарования» этого «виднейшего представителя философского романтизма в России» [8, с. 247]. Исследователь указывал на целостность философских и эстетических взглядов писателя: несмотря на то, что Одоевский пишет «много и в разных жанрах», «в его произведениях легко отыскать единую концепцию жизни и человека» [8, с. 254]. По замечанию Е.А. Маймина, Одоевский стремился к целостности не только в своих умозаключениях, но и в жизни, считая полноту существования главным условием человеческого счастья.

Стремление жить в «мире высокой красоты и поэзии» [8, с. 274], с одной стороны, и вера в возможность социального и духовного «счастья для всех и каждого отдельного человека» [8, с. 265] – с другой, по справедливому замечанию Е.А. Маймина, являются одними из центральных положений идеализма Одоевского. Вместе с тем, путь к счастью, а отчасти и само счастье, по мнению писателя, заключается в самопознании – напряжённом процессе «не столько логических и рациональных, сколько духовных и душевных поисков» [8, с. 265].

Давая глубокий и объективный анализ мировоззрения Одоевского, Е.А. Маймин, как и другие литературоведы советского времени, по понятным причинам, связанным с идеологическими установками, ничего не

говорит о религиозных взглядах писателя, не идёт дальше констатации его высоких идеалистических настроений. Однако, несмотря на это, исследование Е.А. Майминым философии Одоевского не потеряло своей актуальности и является одним из наиболее основательных и серьёзных.

К произведениям Одоевского обращается и такой видный исследователь романтизма, как В.Ю. Троицкий. Он высоко оценивает творчество писателя, считая, что оно «явилось как бы интеллектуальным вкладом романтизма в литературу» [13, с. 212]. По мнению исследователя, «фантастические образы» и «таинственный колорит» в сочетании с философскими размышлениями помогают Одоевскому «создать художественные произведения-системы, впитавшие духовный опыт предшествующих поколений, и прежде всего опыт, находящийся на грани неизвестного и одухотворённый мечтою о цельном человеческом знании» [13, с. 212].

В.Я. Сахаров пишет о самобытности взглядов Одоевского: «<...> это именно русский мыслитель, деятельный всеобъемлющий ум, упрямо стремящийся к „воссоединению всех раздробленных частей знания“» [12, с. 6]. Как и многие названные выше исследователи, В.Я. Сахаров обоснованно подчёркивает, что между всеми мыслями, книгами и начинаниями писателя существует «стройная философская связь» [12, с. 6]. Анализируя повести Одоевского, литературовед настаивает на строгой научности его мировоззрения и рассудочном характере мистических элементов. Также исследователь отмечает общность философских исканий Одоевского 1830-х годов с исканиями Н.И. Надеждина, молодого С.П. Шевырёва, И.В. Киреевского и раннего В.Г. Белинского.

С.Ф. Касумова, говоря о философских взглядах Одоевского, излишне подчёркивает их рациональность и выступает против «обвинения» [7, с. 8] писателя в мистицизме. М.В. Лобыцына, напротив, рассматривая фантастические повести Одоевского, делает упор на мистическом, прежде всего, масон-

ском влиянии на мировоззрение и произведения писателя.

М.А. Турьян строит анализ взглядов и произведений писателя, прежде всего, проводя параллели с его биографией и указывая на «особое качество автобиографизма в прозе Одоевского» [14, с. 7]. Большая заслуга исследовательницы в том, что она разрушает представление об Одоевском как сухом и умозрительном писателе, произведения которого мало связаны с жизнью. Мастерски, во всех нюансах, ссылаясь на множество писем, воспоминаний и документов, М.А. Турьян прослеживает развитие психики, характера и философии Одоевского, отмечая влияние самых разных явлений культуры на эволюцию философских воззрений писателя.

Одна из первых после Н.П. Сакулина, М.А. Турьян обращается к религиозным взглядам Одоевского, говоря о роли православия и, шире, христианства в его мировоззрении. Анализируя художественное творчество писателя, исследовательница отмечает, что зачастую «религиозный ответ ложится на сложнейшую концепцию» произведений Одоевского опосредованно, «он – ”за кадром”, но, безусловно, ощущается как очень важная сверхзадача» [15].

О православных основах мировоззрения Одоевского говорит и Н.К. Гаврюшин. В докладе «На границе философии и богословия: Шеллинг – Одоевский – митрополит Филарет (Дроздов)» исследователь подробно останавливается на исканиях русских православных богословов и религиозных философов вообще и Одоевского в частности, сближая эти искания с философией позднего Ф. Шеллинга и И.Г. Фихте. Н.К. Гаврюшин отмечает, «что Одоевский, как и многие его современники, опирался не на схоластические формулы академического богословия, а на своё *интуитивное* понимание православия», и показывает, что «принципиальная прозорливость его (Одоевского. – Ю.С.) позиции может быть подтверждена анализом позднейшего развития русской богословской

мысли» [4, с. 83]. Исследователь сближает религиозные искания Одоевского, А.С. Хомякова и И.В. Киреевского, видя истоки их мировоззрения в «Обществе Любомудров». Доклад Н.К. Гаврюшина представляет большой интерес и заставляет по-новому взглянуть как на личность и творчество Одоевского, так и на соотношение идей немецкой классической философии и православия.

И.В. Соловьёва обращается к проблеме нравственного выбора в произведениях писателя, рассматривая его прозу через призму философского соотношения добра и зла.

Е.Р. Булдакова изучает роман Одоевского «Русские ночи» с точки зрения отразившихся в нём традиций просветительского рационализма, мистицизма и шеллингианства. Исследовательница анализирует эти «идеологические составляющие» «Русских ночей» в их согласовании и взаимосвязи, говорит о том, как данные концепции «интегрируются в структуру и смысл книги» [2, с. 1]. Делая глубокое осмысление философии и творчества Одоевского, Е.Р. Булдакова излишне рационализирует взгляды и художественный метод писателя, не учитывая роли православия в его мировоззрении и высокий лиризм «Русских ночей».

В.Э. Вацуру, анализируя повесть Одоевского «Косморам», настаивает на наличии многочисленных, ещё не выявленных источников, повлиявших на мировоззрение писателя, таких как герметическая, мистическая и масонская литература. Исследователь говорит о «мистической идее двоemiрия и инобытия», которую Одоевский пытается объяснить таинственными свойствами человеческой психики. Анализируя «Космораму», В.Э. Вацуру рассматривает её героев и философию через призму масонского миропонимания, привлекая сочинения И.В. Лопухина. Впрочем, по словам самого исследователя, «нет достаточных оснований включать эти труды в число непосредственных источников» произведения, ведь «то, что содержится в них, писатель вполне мог почерпнуть из других книг, в том числе из Евангелия» [3].

В XXI веке не ослабевает внимание к философским основам творчества Одоевского. Так, диссертация А.В. Воробьёвой посвящена идее бытия как космоса в творчестве писателя. Предметом исследования П.И. Федотовой стали философско-культурологические идеи в творчестве Одоевского. Т.В. Грудкина обращается к феномену двойничества в произведениях Одоевского и А.П. Чехова, проводит сопоставительный анализ мировоззрения писателей. В.А. Анисимов рассматривает литературно-эстетические взгляды Любомудров вообще и Одоевского в частности.

Диссертация В.Н. Остапцевой посвящена лиризму русской прозы 1830-х годов в целом и лиризму произведений Одоевского в особенности. Работа представляет большой интерес, так как главный акцент исследовательница делает на духовных вопросах – «желании лирического героя преодолеть своё одиночество в мире», «разорвать замкнутый круг земного бытия» [10, с. 19]. Для произведений Одоевского, отмечает В.Н. Остапцева, характерна двойственность, связанная с его стремлением к объединению философии и поэзии.

Таким образом, многие исследователи на протяжении второй половины XIX, XX веков и начала XXI века обращались к осмыслению философских и реже религиозных взглядов Одоевского. В целом в мировоззрении писателя учёные выделяют следующие составляющие: немецкую философию романтизма, труды западноевропейских мистиков и средневековых кабалистов, традиции европейского Просвещения и православие. Но акценты исследователи делают самые разные. Поэтому в работах литературоведов Одоевский предстаёт то мистиком-философом (Н.П. Сакулин) и едва ли не масоном (В.Э. Вацуру, М.В. Лобыцына), то идеалистом-романтиком (Е.А. Маймин, В.Ю. Троицкий), то рационалистом и учёным (В.И. Сахаров, С.Ф. Касумова, Е.Р. Булдакова). В последние десятилетия справедливо отмечается и религиозная составляющая в мировоззрении Одоевского (М.А. Турьян, Н.К. Гаврюшин, В.Н. Остапцева).

Рассмотрение истории изучения религиозно-философских взглядов Одоевского в отечественном литературоведении не только ведёт к более глубокому и объективному анализу сложного мировоззрения писателя, но и позволяет проследить пути развития русской литературоведческой мысли. Хронологический обзор научных трудов, посвящённых осмыслению философских и религиозных воззрений Одоевского, показывает, как на смену критическому реализму второй половины XIX века приходят мистические и околорелигиозные искания века «серебряного», которые, в свою очередь, сменяются вульгарным социализмом сталинской эпохи, а затем высокими устремлениями шестидесятников, чьи взгляды наложили отпечаток и на литературоведение 70-80-х годов XX века. На изучение мировоззрения Одоевского в конце XX-начале XXI столетия повлияли как увлечения мистицизмом и масонством, так и возрождение духовных традиций Православной Церкви.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. – М.: Изд. АН СССР. 1953-1959.
2. Булдакова Е.Р. Книга В.Ф. Одоевского «Русские ночи» и интеллектуальная культура его времени: дисс. ... канд. филол. наук. – СПб. 1998. – 212 с.
3. Вацуру В.Э. София: Заметки на полях “Космограммы” В.Ф. Одоевского. Независимый филологический журнал № 42, 2000 [Электронный ресурс] // URL: <http://magazines.russ.ru/nlo> (дата обращения: 23.02.2012).
4. Гаврюшин Н.К. На границе философии и богословия: Шеллинг – Одоевский – митрополит Филарет (Дроздов) // Богословский вестник. – М. 1998. – № 2. – 82-95 с.
5. Зеньковский В.В. История русской философии. М.: Академический Проект. 2001. – 880 с.
6. Касумова С.Ф. Литературно-критические воззрения В.Ф. Одоевского: автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Баку. 1990. – 234 с.
7. Маймин Е.А. Владимир Одоевский и его роман «Русские ночи» // В.Ф. Одоевский. Русские ночи. – СПб.: Наука, 1975. – С. 247-276.
8. Остапцева В.Н. Лиризм русской прозы 30-х годов XIX века: В.Ф. Одоевский, М.Ю. Лермонтов: дис. ... канд. филол. наук. – М. 2004. – 224 с.
9. Сакулин П.Н. Из истории русского идеализма. Кн. В.Ф. Одоевский. Мыслитель-писатель: В 2 т. – М., 1913.
10. Сахаров В.И. О жизни и творениях В.Ф. Одоевского // В.Ф. Одоевский. Соч. в 2-х т. Т. 1. – М.: Худ. лит. 1981. – С. 5-28.
11. Троицкий В.Ю. Художественные открытия русской романтической прозы 20-30х XIX в. – М.: Наука, 1985. – 280 с.
12. Турьян М. А. Странная моя судьба: о жизни В.Ф. Одоевского. – М.: Книга, 1991. – 400 с.
13. Турьян М.А. Владимир Одоевский и Лермонтов: К истокам религиозных споров [Электронный ресурс] // URL: [http:// books.imhonet.ru](http://books.imhonet.ru). (дата обращения: 23.02.2012).
14. Ф. Хин Е.Ю. В. Ф. Одоевский // Одоевский В. Повести и рассказы. – М., 1959. – С. 3-38.

УДК 821.161.1

Чаусова И.В.

Московский государственный областной университет

**«ВСЁ, ЧЕМ В ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР МЫ БОГАТЫ,
/ НАМ ТОБОЮ ВЛОЖЕНО В СЕРДЦА»:
ОБРАЗ МАТЕРИ В РАННЕЙ ЛИРИКЕ М.И. ЦВЕТАЕВОЙ**

I. Chausova

Moscow State Regional University

**“ВСЕ, ЧЕМ В ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР МЫ БОГАТЫ, /
НАМ ТОБОЮ ВЛОЖЕНО В СЕРДЦА”:**

THE IMAGE OF MOTHER IN EARLY LYRIC POETRY BY M. TSVETAEVA

Аннотация. Статья посвящена одной из наименее изученных в современном цветаяеведении тем – ранней лирике поэтессы. Образ матери рассматривается в статье на материале первых двух цветаяевских сборников – «Вечерний альбом» (1910) и «Волшебный фонарь» (1912). Большое внимание в статье уделяется многообразию психологических состояний лирической героини, пережившей в детстве раннюю утрату матери и воссоздающей в своей памяти её образ. В данном исследовании показано, что образ матери становится своеобразным эмоциональным камертоном обеих книг. Последовательный анализ ряда стихотворений в двух сборниках приводит к выводу, что без обращения к образу матери, присутствующему в них, невозможно понять своеобразие философско-эстетических взглядов М.И. Цветаевой, положенных в основу её раннего творчества.

Ключевые слова: цветаяеведение, ранняя лирика, образ матери, философско-эстетические взгляды, лирическая героиня, психологическое состояние.

Abstract. The article is devoted to one of the least studied themes in the present “tsvetaevdenie” - early lyric poetry of the poetess. In this article the image of mother is considered on the material of the first two Tsvetaeva’s collections - «Evening Album» (1910) and «Magic Lantern» (1912). Much attention is paid to the variety of psychological states of a lyrical character, who experienced loss of mother in early childhood and recreated her image in memory. This study shows that the image of the mother becomes a kind of emotional «tuning fork» of the two books. Sequential analysis of several poems in two collections leads to the conclusion that without addressing the image of the mother, it is impossible to understand the uniqueness of the philosophical and aesthetic views of M. Tsvetaeva, which formed the basis of her early work.

Keywords: tsvetaevdenie, early lyric poetry, the image of the mother, the philosophical and aesthetic views, the lyrical character and psychological state.

Тонкая поэтическая душа юной Марины Цветаевой, впитавшая в себя воспоминания о беззаботном и счастливом детстве, раскрывается нам со страниц её первых сборников – «Вечерний альбом» (1910) и «Волшебный фонарь» (1912). Значительное место в этих книгах занимает образ матери.

В ранней цветаяевской лирике он несёт в себе многие реальные черты матери поэтессы, Марии Александровны Мейн (1868-1906), рано ушедшей из жизни. Кроме того, он тесно связан с другими сквозными образами сборников – образами детства и дома.

Мать Цветаевой, сложная и богато одарённая натура, отдавала все свои знания и всю свою любовь воспитанию двух дочерей – Муси и Аси. Самоотверженно стремясь сделать своих

© Чаусова И.В., 2012.

любимых дочерей людьми образованными и всесторонне развитыми, она вложила в них очень много. Но прежде всего это было *воспитание души*. Гораздо позднее, в очерке «Мать и музыка» (1934), Цветаева скажет: «О, как мать торопилась, с нотами, с буквами, с «Ундинами», с «Джэн Эйрами», с «Антонами Горемыками», с презрением к физической боли, со Св. Еленой, с одним против всех, с одним – без всех...<...> Чтобы было чем помянуть! <...> Как уплотняла нас невидимостями и невесомостями, этим навсегда вытесняя из нас всю весомость и видимость. И какое счастье, что всё это было не наука, а Лирика, – то, чего всегда мало...» [4, с. 40]. И совсем неслучайно так ярко и многогранно раскрылся в дальнейшем весь духовный и творческий потенциал сестёр Цветаевых.

Мария Александровна с самого раннего детства прививала дочерям любовь к музыке и литературе. Будучи талантливой пианисткой, она учила детей искусству игры на фортепьяно, мечтала о том, чтобы они тоже связали свою жизнь с музыкой, но судьба распорядилась иначе.

Мир художественной литературы мать открывала им с таким самозабвением, что Ася и Муся не могли не влюбиться в этот волшебный мир, который всё больше манил к себе с появлением каждой новой книги. Позже, когда девочки подросли, они сами стали, читая, буквально растворяться в книгах, сопереживая героям, ощущая себя участниками происходящих событий. Это и стало началом их литературного пути. Как заметила Цветаева в уже упомянутом очерке: «После такой матери мне оставалось только одно: стать поэтом» [4,42].

В первых сборниках Марины Ивановны образ матери фрагментарен, едва уловим. Создавая его с помощью значимых деталей, поэтесса обращается к тем дорогим, светлым воспоминаниям о самом близком человеке, которые остались в её памяти и сердце после смерти Марии Александровны. На страницах сборника «Вечерний альбом» то и дело появляются приметы присутствия матери:

это её голос, вещи, слёзы (столь непонятные детям), руки, тронувшие рояль. Например, в стихотворении «Пробуждение» начало нового дня сопровождает та музыка, которая неразрывно связана с образом матери:

В зале — дрожащие звуки...
Это тихонько рояль
Тронули мамины руки [5, с. 94].

В своей поздней прозе Цветаева оставила нам такой портрет матери за роялем: «... вижу её коротковолосую, чуть волнистую, никогда не склонённую, даже в письме и в игре отброшенную голову, на высоком стержне шеи между двух таких же непреклонных свеч...» [4, с. 45]. Там же она признавала: «Мать поила нас из вскрытой жилы Лирики...» [4, с. 45].

Однако понимание того, сколько эта удивительная женщина сумела за столь короткий период времени вложить в души своих детей, пришло к Цветаевой очень рано. Именно поэтому ещё в «Вечернем альбоме», в стихотворении «Маме», она напишет:

Все, чем в лучший вечер мы богаты,
Нам тобою вложено в сердца [2, с. 82].

Бесконечная тоска, горечь утраты, ощущение одиночества, мотив прощания неразрывно связаны в сборнике с образом матери. Безусловно, это продиктовано трагическим ощущением невозвратной потери. Так, стихотворение «В ОУЧУ» открывает перед нами картину расставания двух маленьких сестёр с матерью:

Держала мама наши руки,
К нам заглянув на дно души.
О, этот час, канун разлуки,
О предзакатный час в Ouchy! [2, с. 53].

Несмотря на то что в этот момент девочки расстаются с матерью ещё не навсегда, мы чувствуем, как глубока тоска Цветаевой-поэта. Ведь она уже знает, что это – «канун» вечной разлуки. Героиням так хочется оста-

новить время, чтобы подольше побыть с самым близким человеком, прикоснуться к его руке, ощутить единение душ и сердец в этот «предзакатный час»:

Мы рядом. Вместе наши руки.
Нам грустно. Время, не спеши!..
О этот час, преддверье муки,
О вечер розовый в Ouchy! [2, с. 53].

Мгновения настоящего счастья для лирической героини – то время, которые она может провести рядом с матерью. Цветаева запечатлела это в стихотворении «Как мы читали LICHTENSTEIN». Ощущение полной гармонии дополняет здесь атмосфера прекрасного летнего дня и чтение любимой книги:

Тишь и зной, везде синеют сливы,
Усыпительно жужжанье мух,
Мы в траве уселись, молчаливы,
Мама Lichtenstein читает вслух [5, с. 34].

Наступает момент настоящего волшебства для маленьких героинь, ведь о большем нельзя и мечтать! Дети рядом с любимой мамой, слышат её «милый голос», наслаждаются каждой секундой, растворяясь в каждом слове, улавливая всё и сохраняя в сердце этот сладкий миг:

Словно песня — милый голос мамы,
Волшебство творят её уста.
Ввысь уходят ели, стройно-прямы,
Там, на солнце, нежен лик Христа... [5, с. 34].

От зорких детских глаз не ускользает ничего, хочется раствориться во всём, что видишь и слышишь. Такие минуты невозможно вернуть, но и забыть их нельзя.

Стихотворение «Книги в красном переплёте» в полной мере передаёт очарование чудесного вечера, проведённого за чтением. В памяти поэтессы вновь звучит любимый голос, она вводит в текст стихотворения небольшую реплику матери, – и картины детства, столь дорогие для неё, оживают вновь:

Чуть лёгкий выучен урок,
Бегу тотчас же к вам, бывало.
— «Уж поздно!» — «Мама, десять строк!»...
Но к счастью мама забывала.
Дрожат на люстрах огоньки...
Как хорошо за книгой дома! [5, с. 40].

Образ матери связан в книге не только с образом дома, но и с любимым Цветаевой тарусским краем. В стихотворении «Мы на даче» яркие краски природы словно оттеняют красоту дорогого человека:

Мы на даче: за лугом Ока серебрится,
Серебрится, как новый клинок.
Наша мама сегодня царица,
На головке у мамы венки.
Наша мама не любит тяжёлой прически, -
Только время и шпильки терять!
Тихий лучик упал сквозь березки
На одну шелковистую прядь [5, с. 111].

Умиротворённое настроение автора передаётся читателю и погружает его в мир гармонии и беззаботной радости детства.

Однако помимо того образа, который непосредственно связан с Марией Александровной, в «Вечернем альбоме» присутствуют и другие романтические образы матерей. Основываясь на собственных переживаниях и эмоциях, Цветаева, вместе с тем, стремится понять чувства других людей. При этом, как правило, она сосредотачивается на той драме, которую могут переживать и ребёнок, и его мать. Например, в стихотворении «Самобийство» появляется тема смерти. Мы видим трагическое прощание матери, принявшей роковое решение, со своим ребёнком:

Был вечер музыки и ласки,
Всё в дачном садике цвело.
Ему в задумчивые глазки
Взглянула мама так светло! [5, с. 24].

Кажется, что здесь ничто ещё не предвещает страшной развязки: ни музыка, ни цве-

тение сада, ни свет материнских глаз. Но эта гармоничная картина тёплого летнего вечера разрушается на наших глазах:

Когда ж в пруду она исчезла
И успокоилась вода,
Он понял — жестом злого жезла
Её колдун увлѣк туда [5, с. 24].

Пронзительное ощущение одиночества рождает в сознании ребёнка единственно возможное для него объяснение произошедшего: мать «исчезла», то есть покинула его лишь по воле колдуна. Цветаева в этом стихотворении не делает акцента на поступке отчаявшейся матери, она раскрывает глубину переживаний мальчика, оставшегося сиротой, потому что это близко ей самой:

Он понял — прежде был он чей-то,
Теперь же нищий стал, ничей [5, с. 25].

И всё-таки в финале стихотворения звучит фраза, которая дарит надежду. Цветаева верит сама и наделяет этой верой своих героев: «Всегда // Любовь и грусть — сильнее смерти» [5, с. 25].

Схожие события и настроения можно увидеть и в стихотворении «Мама на лугу». Здесь тема смерти вновь становится ведущей:

Вы бродили с мамой на лугу,
И тебе она шепнула: «Милый!
Кончен день, и жить во мне нет силы.
Мальчик, знай, что даже из могилы
Я тебя, как прежде, берегу!» [5, с. 44].

Цветаева глубоко сопереживает герою, его молчаливая грусть понятна ей в полной мере. Анастасия Цветаева, родная сестра поэта, в своё время написала: «Легко ли поверить, что эти стихи написала девушка, еле перешагнувшая порог отрочества?.. Такова была Марина. Она всё знала — заранее» [1, с. 37]. Предчувствие разлуки с матерью, горечь

недетской тоски маленького героя переданы проникновенно и психологически тонко:

Ты тихонько опустил глаза,
Колокольчики в руке сжимая.
Всѣ цвело и пело в вечер мая...
Ты не поднял глазок, понимая,
Что смутит её твоя слеза [5, с. 45].

Для Цветаевой важно подчеркнуть, что герой стихотворения обладает удивительно нежной и чуткой душой (недаром мальчик так боялся «смутить» мать своими слезами, не желая причинить ей малейшую боль). При этом она побуждает читателя понять, что мучительно страдают (каждый по-своему) и ребёнок, и взрослый. Обращаясь в конце стихотворения к осиротевшему мальчику, поэтесса призывает его:

Не грусти! Ей смерть была легка:
Смерть для женщин лучшая находка!
Здесь дремать мешала ей решетка,
А теперь она уснула кротко
Там, в саду, где Бог и облака [5, с. 45].

Эти слова звучат как поддержка мальчику, потерявшему мать, и, возможно, как утешение для самой Цветаевой, пережившей подобную трагедию. Смерть как избавление от страданий, как переход в лучший мир не раз становится темой ранних стихотворений поэтессы.

Совсем иным настроением проникнуто стихотворение «Мама в саду». Всё здесь полно безмятежности, тепла и света: в цветущем саду мать пытается приколоть гвоздику сыну, но упрямый сорванец «ищет ...уловку», чтобы «улизнуть»:

Мама стала на колени
Перед ним в траве.
Солнце пляшет на причёске,
На голубенькой матроске,
На кудрявой голове [5, с. 43].

Ключевым образом стихотворения становится солнечный свет. «Тени» есть, они где-

то рядом («Только там, за домом, тени...»), но они не должны омрачать эту трогательную, милую картину:

Солнце нежит взгляд и листья,
Золотит незримой кистью
Каждый лепесток [5, с. 43].

Материнская любовь и забота окружают и маленькую героиню стихотворения «У кровати». Умиротворённая атмосфера вечера и голос мамы, рассказывающей волшебную сказку, потихоньку убаюкивают малышку и погружают её в сон:

— «Там, где шиповник рос аленький,
Гномы нашли колпачки»...
Мама у маленькой Валеньки
Тихо сняла башмачки [5, с. 46].

В стихотворении «Мама за книгой» причудливо соединяются лирическое начало и добрая улыбка автора. Героиня с восторженным упоением погружается в чтение, но дети настойчиво требуют её внимания:

...Сдавленный шёпот... Сверканье кинжала...
— «Мама, построй мне из кубиков домик!»
Мама взволнованно к сердцу прижала
Маленький томик.

...Гневом глаза загорелись у графа:
«Здесь я, княгиня, по благодати рока!»
— «Мама, а в море не тонет жирафа?»
Мама душою — далеко! [5, с. 93].

Поэтессе близки и понятны и чувства детей, и эмоции героини. С одной стороны, она признаёт за детьми право получить немедленные ответы на свои очень важные вопросы. Но, с другой стороны, и в увлечённости героини романтическим повествованием ей видится что-то по-детски трогательное.

Все черты, присущие образу матери в «Вечернем альбоме», так или иначе проявляются и в сборнике «Волшебный фонарь». Че-

рез какой-то штрих, через деталь, передаётся самое главное, что так восхищало и притягивало юную поэтессу в материнском облике и поведении. Мы словно становимся свидетелями потаённой жизни её души:

Мы помним о раненых птицах
Твою молодую печаль
И капельки слёз на ресницах,
Когда умолкала рояль [3, с. 15].

Образ раненых птиц подчёркивает восприимчивость, глубокую чувствительность героини, символизирует тонкость её натуры.

Стихотворение «За книгами» – ещё одно воспоминание о счастливых минутах детства, о поездке с мамой в книжный магазин. Книги – родная стихия как для матери, так и для дочери. Сердце маленькой героини в этот зимний вечер переполнено восторгом и счастьем:

Прямо в рот летят снежинки...
Огонёчки фонарей...
«Ну, извозчик, поскорей!
Будут, мамочка, картинки?»
Сколько книг! Какая давка!
Сколько книг! Я всё прочту!
В сердце радость, а во рту
Вкус солёного прилавка [5, с. 108].

Неповторимы и незабываемы для обеих сестёр Цветаевых были вечера, когда они вместе слушали рассказы матери. Эти заветные часы, как вспоминала позже А.И. Цветаева, они называли журавлиным словом «курлык» и помнили всю жизнь:

Детство: молчание дома большого,
Страшной колдуньи оскаленный клык;
Детство: одно непонятное слово,
Милое слово «курлык» [3, с. 17].

Анализируя раннюю лирику М.И. Цветаевой, можно заключить, что образ матери играет в ней особую роль, являясь некой связующей нитью между сказочным миром

фантазий, в котором пребывают дети, и реальным миром. Образ матери неразрывно связан для поэтессы с миром природы, теплом и уютом родного дома. Мать в первых цветаевских книгах предстаёт перед нами в облике человека, внешне спокойного и сдержанного, но несущего в душе какую-то тайну, загадку, живущего напряжённой и наполненной внутренней жизнью.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Цветаева А.И. Воспоминания. – М., 1984. – 768 с.
2. Цветаева М.И. Вечерний альбом: Стихи. – М., 1910. – 224 с.
3. Цветаева М.И. Волшебный фонарь: Вторая книга стихов. – М., 1912. – 148 с.
4. Цветаева М.И. Вольный проезд. – СПб., 2005. – 384 с.
5. Цветаева М.И. Собрание стихотворений, поэм и драматических произведений: В 3-х томах. Том 1. Стихотворения и поэмы 1910-1920. – М., 1990. – 655 с.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ Д 212.155.01 В 2011 ГОДУ

Диссертационный совет Д 212.155.01 утверждён в Московском государственном областном университете приказом Высшей аттестационной комиссии от 19 октября 2007 г. № 2007.

Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации по специальностям 10.01.01 – русская литература по филологическим наукам и 10.01.03 – литература народов стран зарубежья (литература народов Европы и Америки) по филологическим наукам.

В 2011 году проведено 12 заседаний диссертационного совета.

Защищено 9 диссертаций, из них 3 докторские. В рассмотренных диссертациях изучаются динамика литературной жизни, духовно-нравственные основы творчества русских и зарубежных писателей, литературные контексты, судьба евангельского слова в литературной традиции, своеобразии творческих индивидуальностей. В работах поднимаются вопросы истории литературоведения, особенности изучения творчества зарубежных писателей в России и русских за рубежом. Выделяются работы, посвящённые решению проблем поэтики, как стихотворных, так и прозаических произведений. Исследуются судьбы малоизученных писателей, в том числе писателей русского зарубежья.

В диссертациях привлекаются архивные материалы, старинные книжные публикации, уникальные периодические издания, ранее не переведённые произведения зарубежных писателей.

Результаты, полученные соискателями в процессе исследований, могут быть использованы при создании учебных и научных книг, при подготовке к переизданию литературных сочинений, при чтении лекционных курсов, спецкурсов, при проведении спецсеминаров, факультативных занятий в высшей и старшей школе. Материалы диссертационных исследований апробируются в многолетней преподавательской деятельности авторов работ; полученные в ходе подготовки диссертационных сочинений результаты могут быть полезны при написании учебных программ для бакалавров и магистратуры в современных высших учебных заведениях.

Данные о рассмотренных диссертациях на соискание ученой степени доктора наук

	Шифр специальности	Шифр специальности
	10.01.01	10.01.03
Работы, снятые с рассмотрения по заявлениям соискателей	–	–
С положительным решением по итогам защиты	2/0	1/1
В том числе из других организаций	2/0	1/1
С отрицательным решением по итогам защиты	–	–
В том числе из других организаций	–	–
Дано дополнительных заключений	–	–
Находятся на рассмотрении на 1 января 2012 г.	3/3	0/0

*Данные о рассмотренных диссертациях
на соискание ученой степени кандидата наук*

	Шифр специальности 10.01.01	Шифр специальности 10.01.03
Работы, снятые с рассмотрения по заявлениям соискателей	-	-
С положительным решением по итогам защиты	4/3	2/1
В том числе из других организаций	2/0	1/0
С отрицательным решением по итогам защиты	-	-
В том числе из других организаций	-	-
Дано дополнительных заключений	-	-
Находятся на рассмотрении на 1 января 2012 г.	2/1	1/1

*Аношкина Вера Николаевна,
председатель диссертационного совета,
доктор филологических наук, профессор;
Алпатова Татьяна Александровна,
учёный секретарь диссертационного совета,
кандидат филологических наук, доцент*

РЕЦЕНЗИИ

РЕЦЕНЗИЯ

*на книгу В.Н. Аношкиной
«Православные основы русской литературы XIX века»*

Пророк Исаяя призывал: «О, вы, напоминающие о Господе! Не умолкайте» (Ис. 62:6). Призыв этот, зовущий к главному служению на Земле, может реализоваться по-разному: вдруг оживёт в проникновенном очерке о безграничной милости любимого святого, проявится в бесхитроном повествовании паломника, зазвучит в горячей молитве, но может воплотиться и в научном труде. Таким свидетельством о Господе, искренним и глубоким служением Ему и стала новая книга современной исследовательницы русской классической литературы В.Н. Аношкиной «Православные основы русской литературы XIX века», вышедшая в 2011 году в издательстве «Пашков дом». Автор её – умудрённый жизнью человек, отдавший не один десяток лет литературной науке, создавший исследования о ведущих русских писателях XIX, крупнейший специалист по творчеству Ф.И. Тютчева, досконально изучивший проблемы русского предромантизма и романтизма. В.Н. Аношкина говорит о главном деле своей жизни, делится с современными читателями сокровенными мыслями и переживаниями, связанными с постижением литературного процесса XIX века.

Говорить о православных основах русской классики – дело ответственное и сложное. Для этого мало быть глубоко образованным, эрудированным человеком. Главное – надо иметь чистую, искреннюю веру и быть способным на жертвенное служение людям. При этом необходимо помнить о специфике литературного творчества, не отождествлять литературу с богословием, не накладывать религиозные истины на конкретные художественные создания. Всё это вполне удаётся В.Н. Аношкиной. Ею исследуются разноплановые явления литературной жизни, и от них делаются выходы к серьёзным религиозным и нравственным вопросам, к духовным основам русской классики.

В форме ярких научных очерков в этом монографическом труде идёт речь о христианской наполненности русской литературы, о главной составляющей творчества ведущих отечественных писателей. Серьёзные литературные вопросы не берутся здесь изолированно, абстрактно и умозрительно, а исследуются в целостности, в единстве личности писателя и её литературного, бытового окружения, с учётом атмосферы эпохи, колорита времени.

Православная идея пронизывает творчество русских авторов. Когда-то Н.А. Бердяев писал, что «вся наша литература XIX века ранена христианской темой, вся она ищет спасения, вся она ищет избавления от зла, страдания, ужаса жизни для человеческой личности, народа, человечества, мира». Мысль эта получила своё полное развитие в данном труде. Представленные в книге очерки о духовных проблемах русской классики как лучом высвечивают наиболее интересные и, как правило, мало изученные вопросы русской литературы. Между этими очерками существует внутренняя перекличка: их связывают гуманные идеи; мысль, выраженная в одном очерке, подхватывается в другом, получает в нём полное развитие. При этом нет никакой внешней научности, никакого

наукообразия. Автора характеризует умение в известном событии, факте увидеть необычное, оригинальное, изящно и доступно рассказать о сложных литературных явлениях. И всегда в искренних повествованиях видна личность самой исследовательницы – широкая и любящая. Читая книгу, всё время осознаёшь, сколько красоты, света, благородства скрыто в душах русских писателей, как высок духовный потенциал классической литературы.

Все основные явления русской литературной жизни XIX века нашли отражение в данном исследовании. Это и поэтическое творчество предромантика К.Н. Батюшкова, взятое в религиозном аспекте, и религиозная этика романтика В.А. Жуковского, отразившаяся в его переписке с А.П. Киреевской, и периоды творческой и духовной эволюции А.С. Пушкина, и пронзительный мотив сиротства в поэзии М.Ю. Лермонтова, и глубины православного романтизма Н.В. Гоголя, и литературная деятельность духовного труженика И.С. Аксакова, и христианское мировоззрение Ф.И. Тютчева, воплощённое в его поэтическом слове, и лиризм прозы Ф.М. Достоевского, и раздумья Л.Н. Толстого о духовной жизни. Даже, на первый взгляд, сухие и сугубо теоретические проблемы периодизации русской классики и развития литературных направлений, представленные в заключительной части монографии, рассматриваются через призму духовности.

В центре внимания автора личность писателя как носителя высших нравственных ценностей. Поднята и раскрыта проблема соотношения гениальности и святости, волновавшая не одно поколение русских литераторов и мыслителей. При этом тщательно исследуются не только художественные создания, но и эпистолярное, литературно-критическое наследие русских писателей, позволяющее проникнуть в душу литературных гениев.

Все главы монографии создавались не вдруг и не сразу, они рождались в течение многих лет, порой десятилетий. Каждый раздел был самым тщательным образом апробирован, озвучен на научных конференциях, выстрадан автором.

Следует особо отметить какую-то пронзительность чувства, обнажённость переживаний в этой книге. Перед читателем не холодная констатация общих фактов, а стремление почувствовать и передать обнажённый нерв человеческих потрясений, представленных в русской литературе.

Книга В.Н. Аношкиной является духовным отчётом большого специалиста-литературоведа за прожитые годы. Значение этой книги особенно возрастает в условиях современной жизни, в эпоху кризиса нравственных ценностей. Она помогает обрести почву под ногами, увидеть и принять высокие духовные ориентиры, представленные великой русской литературой XIX века.

*Батурова Татьяна Константиновна,
доктор филологических наук,
профессор кафедры
русской классической литературы
Московского государственного
областного университета*

НАШИ АВТОРЫ

Алпатовая Татьяна Александровна – кандидат филологических наук, доцент кафедры русской классической литературы Московского государственного областного университета; e-mail: classikaxix@rambler.ru.

Анисимова Татьяна Валентиновна – доктор филологических наук, профессор кафедры литературы, издательского дела и литературного творчества Волгоградского государственного университета; e-mail: atvritor@yandex.ru.

Аношкина Вера Николаевна – доктор филологических наук, профессор кафедры русской классической литературы Московского государственного областного университета; e-mail: classikaxix@rambler.ru.

Артамонова Ксения Геннадьевна – соискатель кафедры зарубежной литературы Литературного института имени А.М. Горького; e-mail: xena_arta@mail.ru.

Батурова Татьяна Константиновна – доктор филологических наук, профессор кафедры русской классической литературы Московского государственного областного университета; e-mail: classikaxix@rambler.ru.

Барнаева Анна Евгеньевна – кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой русского языка, литературы и методик их преподавания в начальных классах Смоленского государственного университета; e-mail: anna6772@mail.ru.

Гусейнова Наталья Александровна – соискатель кафедры истории русского языка и общего языкознания Московского государственного областного университета; e-mail: nataemka@yandex.ru.

Искренкова Мария Сергеевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры начального образования Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых; e-mail: iskr.vggu@mail.ru.

Квак Хэ Ми – аспирант кафедры русской литературы и журналистики XX – XXI веков Московского педагогического государственного университета; e-mail: Seabeau001@hanmail.net.

Козин Александр Александрович – кандидат филологических наук, доцент кафедры истории зарубежных литератур Московского государственного областного университета; e-mail: kozzin@mail.ru.

Коренева Юлия Викторовна – кандидат филологических наук, доцент кафедры истории русского языка и общего языкознания Московского государственного областного университета; e-mail: yukor74@mail.ru.

Летова Анна Михайловна – аспирант кафедры истории русского языка и общего языкознания Московского государственного областного университета; e-mail: anet8707@rambler.ru.

Родина Надежда Андреевна – аспирант кафедры русского языка Смоленского государственного университета; e-mail: esperance84@mail.ru.

Свиридова Екатерина Александровна – аспирант кафедры русского языка Мичуринского государственного педагогического института; e-mail: swiridowa.kat2011@mail.ru.

Симонова Лариса Алексеевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры истории зарубежных литератур Московского государственного областного университе-

та, докторант кафедры истории зарубежных литератур Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова; e-mail: mouette37@yandex.ru.

Сытина Юлия Николаевна – аспирант кафедры русской классической литературы Московского государственного областного университета; e-mail: yulyasytina@yandex.ru.

Чаусова Ирина Викторовна – аспирант кафедры русской литературы XX века Московского государственного областного университета, главный специалист отдела рекламы объединенной редакции изданий мэра и правительства Москвы, журнал «Счастливая свадьба»; e-mail: Irinrus1207@mail.ru.